

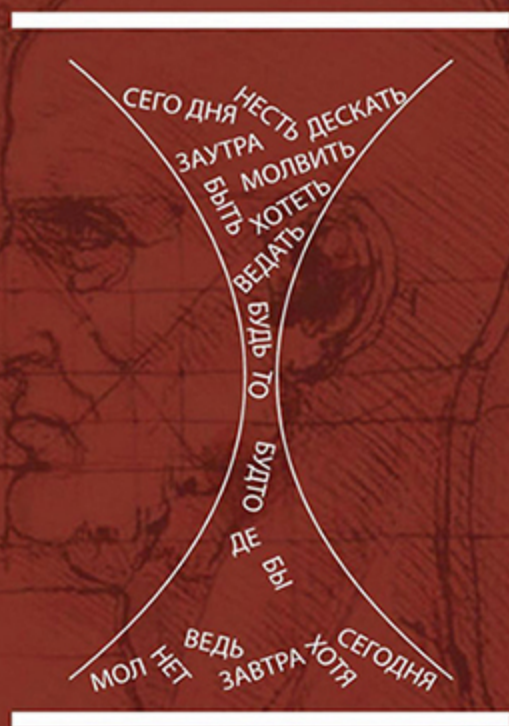


РАЗУМНОЕ ПОВЕДЕНИЕ И ЯЗЫК
LANGUAGE AND REASONING

М. А. КОТИН

ЯЗЫК И ВРЕМЯ

Очерк теории
языковых изменений



РАЗУМНОЕ ПОВЕДЕНИЕ И ЯЗЫК

LANGUAGE AND REASONING

М. А. КОТИН

ЯЗЫК И ВРЕМЯ

Очерк теории
языковых изменений



Издательский Дом ЯСК

Москва

2018

УДК 80/81
ББК 81
К73



Издание осуществлено при финансовой поддержке
Зеленогурского университета (Польша)

Котин М. Л.

К73 Язык и время. — М.: Издательский Дом ЯСК, 2018. —
224 с. — (Разумное поведение и язык. Language and Reasoning.)
ISBN 978-5-907117-01-3

Целью монографии является введение в проблематику развития естественных языков и языковых изменений, обсуждение достоинств и недостатков главных теорий и концепций, касающихся их причин и механизмов, а также представление тезисов автора, позволяющих в общих чертах изложить его собственный взгляд на данные вопросы. Выводы автора являются плодом его многолетних исследований в области исторической лингвистики, теории языковых изменений, а также языковой типологии и контрастивной лингвистики. Книга адресована широкому кругу читателей, заинтересованных данными вопросами, — в первую очередь филологам и лингвистам.

УДК 80/81
ББК 81

*В оформлении переплета использованы
фрагменты рисунков Леонардо да Винчи*

ISBN 978-5-907117-01-3

© Котин М. Л., 2018
© Издательский Дом ЯСК, 2018

Введение

Введение	9
Что такое язык?	15
Что такое время?	33
Имеет ли право на существование вопрос о происхождении естественных языков?	43
Почему изменяется язык?	95
Как возникают и изменяются языковые знаки?	113
Динамика грамматических форм в онтогенезе и филогенезе .	128
Как контакты между языками влияют на их развитие? . . .	177
Язык и текст в статике и динамике: границы функциональных объяснений языковых изменений	201
Библиография	209

**Жене Татъяне
и сыну Андрею —
с любовью и благодарностью**

Введение

Естественные языки, которых на Земле в настоящее время насчитывается более 7500¹, возникают, развиваются и заканчивают своё существование согласно определённым законам. Законы эти в значительной своей части универсальны, то есть действуют независимо от того, о каком конкретном языке идёт речь. Есть, конечно, и специфические механизмы развития конкретных языков, но нас в этой книге они будут интересовать в меньшей степени. Наиболее интересным представляется изучение общей судьбы человеческого языка, от его зарождения до нынешнего состояния, а в отношении так называемых мёртвых языков — до их «смерти». Лингвистика — весьма ещё молодая область человеческих знаний, возникшая как самостоятельная наука на рубеже XVIII—XIX веков. Однако в силу того, что её развитие совпало с гигантскими достижениями последних двух столетий в области других наук, в разной степени ускорившими процессы познания в глобальных масштабах, она проделала под этим общим влиянием весьма внушительный как с точки зрения формирования теоретико-методологической базы, так и в плане эмпирических исследований путь. В этом есть как положительные,

1 Приводимые в разных источниках данные существенно разнятся, поскольку зависят от применяемых критериев и алгоритмов подсчёта, в частности, от того, что считается языком, а что — диалектом, региональным вариантом языка, говором, койне и т. п. Число 7500 (которое является очень приблизительным) — скорее максимальное, чем минимальное или среднее.

так и отрицательные стороны. С одной стороны, языковедение испытало благотворное влияние как естественных, так и гуманитарных наук при формировании своего научного профиля. С другой стороны, оно нередко под влиянием теории и методологии этих наук как бы «забывало» о том, что использовать эти методы можно лишь при условии понимания специфики собственного предмета изучения, а следовательно, они всегда нуждаются в адаптации к объекту исследования — естественному человеческому языку, а подчас оказываются для данных целей и вовсе не пригодными.

Язык — единственный объект научного знания, который одновременно является инструментом собственного описания. Мы говорим и пишем о языке, используя язык. То, что при этом мы можем пользоваться, скажем, русским языком для описания языка немецкого или любого другого, мало что меняет, поскольку область пересечения здесь гораздо более тесная, чем, например, при описании химического вещества или физических законов при помощи буквенно-цифровых знаковых систем. Понятие *метаязыка* в языкознании отличается поэтому от знаковых метасистем, используемых в других науках, и создание адекватной лингвистической терминологии всегда будет сталкиваться с серьёзными проблемами. О многих феноменах языка лингвисты по сей день говорят лишь «приблизительно», метафорически, хотя они не оставляют попыток как-то упорядочить используемый ими терминологический аппарат. В результате представители разных лингвистических школ и направлений зачастую не понимают друг друга, говоря на первый взгляд о «том же самом». Помимо этого, наше сознание, вырабатывая тот или иной понятийный аппарат для целей научного исследования, не может пользоваться им в отрыве от той материальной оболочки, которую имеет слово как языковой знак. Мы можем сколько угодно говорить об отличии слов от понятий или, согласно современной терминологии, концептов или фреймов, о наличии некоего «энциклопедического знания», отличного от знания «идеографического» (словарного), однако нет никаких универсальных способов регистрации

и фиксации энциклопедического, концептуального или понятийного знания, отличного от знания, связанного с языковым знаком.

Язык — исторический феномен, что означает прежде всего его существование во времени. Время же всегда предполагает изменение, развитие, исчезновение одних форм и появление других или изменение значения или функции той или иной формы при её сохранении как материального носителя старого и нового значения, старой и новой функции. Всё, что подвластно времени, по необходимости должно изменяться, и это правило настолько непреложно, что само время мы воспринимаем не иначе как через призму изменения наблюдаемых нами объектов. Бытийными рамками этого изменения являются возникновение и исчезновение чего-либо или кого-либо. Так и всякий язык когда-то возникает, живёт, пока живут его носители, и исчезает вместе с их исчезновением — бесследно, если он существовал лишь в устной форме, или сохранившись лишь в виде текстов, если он имел также письменную историю и если эти тексты не пропали. Понятно, что в последнем случае язык сохраняется не целиком, а лишь может быть восстановлен фрагментарно. Но если на земле живёт хотя бы один-единственный взрослый носитель какого-то языка, можно считать, что вне зависимости от объёма его словарного запаса данный язык является живым и представлен во всей своей полноте.

Логика времени, которая, в общем, не требует от нас ответа на вопрос, почему изменяются естественные языки, ортогональна, однако, логике существования знаковых систем, а ведь язык помимо своей исторической сущности является ещё и системой знаков. Знаковые же системы вовсе не предполагают неотвратимости изменений, им вполне может быть присуща стабильность и неизменность. Изменения здесь скорее требуют объяснений, чем принимаются по умолчанию. Собственно, любая оптимальная система знаков может существовать в неизменном виде сколь угодно долго. При этом, если изменения в ней всё же происходят, они всегда могут быть объяснены конкретными целями или обстоятельствами. Скажем, усложнение

сигналов светофора путём добавления жёлтого света к зелёному и красному, было обусловлено увеличением скорости движения автотранспорта, в результате чего возникла необходимость заранее приготовиться к торможению, а также увеличением числа механизированных участников движения, приведшим к затруднениям при ориентации водителей на дороге. Подобным образом увеличение числа дорожных знаков вызвано нарастающим усложнением участников и условий движения. При сохранении стабильности в данной сфере система дорожных знаков может теоретически не меняться столетиями. Азбука Морзе также не требует изменений, не вызванных внешними и не зависящими от самой системы явлениями. То же можно сказать о системах знаков, применяемых в математике, физике, химии и ряде других наук.

Система языковых знаков подчинена совершенно иным механизмам. На первый взгляд можно объяснить происходящие в ней изменения внешними причинами: появлением новых предметов и понятий, требующих новых обозначений; воздействием других языков (языковыми контактами) и т.п. Однако достаточно задаться вопросом, сохранился ли бы язык в неизменном виде, если бы все внешние факторы, обуславливающие его развитие, отпали, чтобы понять, что естественные языки кардинально разнятся от прочих знаковых систем. Представим себе отделённый океаном от прочих обитаемых территорий остров, на котором проживает некое племя *инси*, говорящее на *инсийском* языке. Племя это живёт много столетий подряд без видимых изменений в своём жизненном укладе, технического прогресса, а также не контактирует ни с каким другим народом в силу его отсутствия. Природные условия благоприятствуют стабильному существованию данного племени, которое со временем численно растёт и распространяется по всему острову. Можно ли вообразить, что, скажем, в течение трёх или четырёх сотен лет язык данного племени останется неизменным? Очевидно, что нельзя. Что же станет в этом случае причиной развития языка, если отпадают все те причины языковых изменений, которые обычно называются в

лингвистике? Несомненно, это будет просто наличие фактора времени. Со временем меняются языковые формы, как со временем меняется, скажем, организм живых существ.

Понятно, что сравнение языка как системы знаков с живыми организмами сегодня весьма рискованно. Классики сравнительно-исторического метода в языкознании Якоб Гримм и Август Шлейхер, а вслед за ними их последователи, принадлежавшие к так называемой младограмматической школе (Германн Пауль, Карл Бругманн, Вильгельм Брауне и многие другие), не представляли себе иной модели языка, кроме органической, и для них подобное сравнение было поэтому естественным. Однако современная лингвистика далеко ушла от их представлений и в качестве модели существования и развития языков использует метафоры, заимствованные не из биологии, но скорее из тех областей знания, которые не связаны с естественными эволюционными процессами, — логики, социологии, семиотики и т. п. (об исключениях из этой магистральной линии развития лингвистики речь пойдёт ниже). При таком подходе вполне понятно, что время как жёсткая составляющая конструкции, именуемой языковой системой, отходит как минимум на задний план, если вовсе не выводится за рамки метода — что, в частности, предложил сделать Фердинанд де Соссюр, прочертив резкую методологическую границу между синхроническим (то есть статическим, а потому вневременным) и диахроническим (зависящим от фактора времени) подходом. Его более радикальные последователи (например, Шарль Балли) превратили данную методологическую черту по сути в онтологическую, объявив уже сам язык в его определённом статическом состоянии предметом абсолютно самостоятельного научного интереса. После такого переворота язык, казалось бы, уже не может изучаться в парадигме, предусматривающей его сравнение с живым организмом. Вместе с тем вопрос о доминантности времени при описании языка никуда не исчез. Учитывая при этом именно детерминистическую постановку данного вопроса, необходимо по меньшей мере частично вернуться к проблеме внутренних, системно обу-

словленных причин и механизмов языковых изменений, что, в свою очередь, неизбежно предполагает выведение языка за рамки прочих семиотических систем.

В этой книге чрезвычайно сложные вопросы исторической природы языка, его генеалогии, первичных и вторичных факторов развития, соотношения «внутренних» и «внешних» причин, обуславливающих и ускоряющих или, наоборот, ослабляющих и задерживающих это развитие, будут изложены с максимальной доступностью. Не перегружая текст сложной и подчас неоднозначной и не повсюду принятой терминологией, а, с другой стороны, не стремясь к доступности в ущерб научной обоснованности, что свойственно научно-популярным работам, автор пытается представить актуальные проблемы теории языковых изменений на разных уровнях языковой системы. Такой подход должен максимально расширить круг заинтересованных данными проблемами читателей, ядром которого тем не менее должны являться филологи и лингвисты. Вместе с тем книга не является классическим научным трудом, содержащим большой объём эмпирического материала, исследуемого на основе систематизированного и аннотированного корпуса текстов. Это скорее пособие, целью которого является введение в проблематику языковых изменений, обсуждение достоинств и недостатков главных теорий и концепций, касающихся их причин и механизмов, а также представление тезисов автора, позволяющих в общих чертах изложить его собственный взгляд на данные вопросы. Тезисы автора, в свою очередь, являются плодом его многолетних исследований в области исторической лингвистики, теории языковых изменений, а также языковой типологии и контрастивной лингвистики. Данные исследования в отличие от предлагаемой монографии проводились на обширном языковом материале, который, учитывая специфику настоящей книги, может быть здесь представлен лишь фрагментарно, в качестве иллюстрации. То же самое может быть сказано и о ссылках на научные источники, число которых ограничено до необходимого минимума.

Что такое язык?

Ответ на этот вопрос крайне сложен, что связано с тем, о чём отчасти речь уже шла во Введении. Используя в качестве метаязыка при описании естественных человеческих языков всё тот же естественный язык, мы попадаем в некоторый замкнутый круг. Что такое то, на чём я сейчас говорю? Ожидаемый ответ здесь — русский язык. Я сейчас говорю (или в данном случае пишу) по-русски. Каким образом это возможно? Где этот язык можно найти и как он выглядит? Есть словари русского языка, в которых более или менее подробно представлен его лексический состав. Есть учебники грамматики, описывающие правила, по которым слова из словаря могут соединяться в фразы. Можно описать звуковой состав языка, его гласные и согласные звуки, слоги, интонацию, ударение и прочие элементы и правила их соединения друг с другом. При этом совершенно очевидно, что ни одно из описаний не является полным и исчерпывающим, что оно не адекватно описываемому феномену. Язык, который я использую, живёт в моём сознании, является одной из составляющих тех знаний, которыми я обладаю. При построении фраз я извлекаю из определённых участков мозга содержащиеся там в идеальном виде языковые формы, материализую их посредством речевого аппарата (гортани, нёба, языка, зубов, губ, голосовых связок) и соединяю их в осмысленные предложения путём применения правил, которые можно назвать, вслед за Ноамом Хомским, «competence».

При этом происходит превращение competence в performance, или идеального «внутреннего языка», I(nternalized) language, в реальный, материальный «внешний язык», E(xternalized) language (ср. Chomsky 1986). Потенциальный язык, живущий в недрах головного мозга, организован в виде некоего интерфейса, позволяющего генерировать фразы из словесного материала, причём последний накапливается в результате обучения, тогда как «глубинный» синтаксис, согласно Хомскому, дан человеку *a priori*, от рождения, как абстрактная возможность соединять именные и глагольные фразы. В реальной жизни мы слышим и видим только результаты внутренней речевой деятельности, однако на их основе можем делать выводы о лежащих в её основе логических схемах, подобно тому, как Мендель открыл гены, исследуя белые и жёлтые цветы, или как химик, видя воду, говорит о её химической формуле H₂O (ср. von Stechow 1993: 7).

Итак, местом обитания языка является головной мозг человека (ср. von Stechow 1993: 7), где язык существует как *идиолект* (ср. Grucza 1997: 11). Ещё А. И. Бодуэн де Куртенэ (Baudouin de Courtenay 1922: 3) писал о польском языке следующее (очевидно, что его высказывание может быть без ограничений применено к любому живому языку)¹:

У нас есть столько индивидуальных, то есть личных, польских языков, сколько есть голов, вмещающих в себе польское языковое мышление. «Языковые поляки», то есть носители и выразители польского языкового мышления, постоянно рождаются и постоянно умирают, а значит, и состав польского языкового сообщества постоянно меняется. Как во всех прочих сферах жизни — жизни в самом широком смысле этого слова, — так и здесь

1 «Mamy tyle języków polskich indywidualnych, czyli jednostkowych, ile jest głów, mieszczących w sobie polskie myślenie językowe. Polacy językowi, t.j. nosiciele i uzewnętrznicze polskiego myślenia językowego, ciągle się rodzą i ciągle giną. Więc też skład społeczności czyli zbiorowiska językowego polskiego ciągle się zmienia. Jak we wszystkich innych dziedzinach życia, życia w najrozciąglejszym znaczeniu tego słowa, tak i tu stosuje się powiedzenie Heraklita: Πάντα ῥεῖ (wszystko płynie, wszystko jest w bezustannym ruchu)».

верно высказывание Гераклита Πάντα ῥεῖ (всё течёт, всё находится в постоянном движении) (перевод с польского мой. — М. К.).

Подобным образом язык как индивидуальное свойство человеческого мышления, а следовательно, как индивидуальный язык, понимал С. Шобер (ср. Szober 1913: 4).

Однако идиолектный, индивидуальный характер языка, его привязанность к языковой компетенции отдельно взятого носителя по определению выводит его за рамки социально обусловленного феномена, локализуемого, согласно классическому структурализму Фердинанда де Соссюра (Saussure 1916), не в мозгу носителя, а на некоторой «нейтральной» территории, расположенной одновременно внутри и вне индивидуума, в некоем общем знаковом пространстве, являющемся достоянием сообщества говорящих на данном языке. Фиксация понимаемого так языка возможна благодаря дихотомии, которую Соссюр определял как оппозицию *langue* и *parole* (то есть языка как абстрактной системы знаков и как её реализации в процессе общения). Иными словами, можно говорить о языке как системе знаков, расположенной в пространстве социума, каждый из членов которого в той или иной степени владеет данной системой. Однако данная дихотомия (кстати, единственная из дихотомий, предлагаемых Соссюром) получает в его модели общий интеграл, который он называет *langage*. Это понятие переводится лингвистами по-разному. Так, А.А. Холодович предлагает понимать его как «речевую деятельность» (ср. Холодович 1977: 18), в то время как большинство других языковедов говорят здесь скорее о «языковой способности». По-видимому, соссюровская *langage* в значительной степени согласуется с *competence* Хомского, являясь модулем, претворяющим языковую систему в речь. Данный модуль в силу необходимости должен носить индивидуальный характер, но быть общим для всех носителей одного языка, чтобы обеспечить простое понимание между ними. Определение языка как идиолекта является поэтому правильным, но недостаточным. Понятно, что язык объективируется через общение между его носителями, в

результате чего создаются тексты на данном языке, понимаемые хотя бы на самом поверхностном уровне всеми носителями данного языка. При этом, согласно гениальному определению Вильгельма фон Гумбольдта (ср. Humboldt 1903–1936 (5): 9, Trabant 2003: 27), мир естественного языка, используемого народом, на нём говорящим, объективен по сравнению с миром индивидуума, поскольку присущ множеству индивидуумов, и в то же самое время субъективен по сравнению с миром языка предыдущих и последующих поколений (то есть в историческом плане) и по сравнению с совокупностью «языковых миров» современной ему эпохи (то есть в плане географическом). Иными словами, язык данного народа понимается Гумбольдтом как форма его (народа) субъективного мировосприятия (Weltansicht), объединяющего всех носителей этого языка и отличающего их от носителей прочих языков. Язык народов Гумбольдт называет «внешним выражением их духа» (äußerliche Erscheinung ihres Geistes) (Humboldt 1836/1949: 41). Важно при этом, что никакой другой формы субъективации мира для целого народа, кроме языка, согласно Гумбольдту, не существует, в силу чего язык является единственным носителем народного духа (Volkgeist): «Их [народов. — М. К.] язык — это их дух, а их дух — их язык, оба нельзя представлять себе иначе как совершенно идентичными друг другу»². Поскольку язык содержит вполне определённые, эмпирически устанавливаемые, «измеримые» материальные формы своего существования, народный дух в таком его восприятии теряет свою эфемерность и получает вполне научное осмысление. К сожалению, попытки интерпретации учения Гумбольдта о языке, как апологетического, так и критического свойства, зачастую игнорируют данный аспект, в силу чего Гумбольдт до сего дня многими воспринимается как романтик и «певец народного духа», тогда как он выступает здесь, независимо от специфической для своего времени терминологии, как строгий учёный. Субъективен в его системе именно мир, точнее, его осмысление народом через

2 «Ihre Sprache ist ihr Geist und ihr Geist ist ihre Sprache, man kann sich beide nicht identisch genug denken».

язык, объективен — сам язык как система форм, выражающих мирозерцание народа. С другой стороны, «языковлённый мир» (*die versprachlichte Welt*) принадлежит народу, говорящему на данном языке, как феномен, объективируемый посредством языка, объединяющего множество индивидуумов, каждый из которых имеет свою субъективную картину мира.

Таким образом, применяя центральные положения теории языка Гумбольдта к современной антропоцентрической концепции языка как идиолекта, а с другой стороны, к теориям сосюрковского и постсосюрковского структурализма, мы получаем следующую картину. Язык как «лингвомодуль», локализованный в мозге его отдельного носителя, через речевую деятельность, направленную вовне и осуществляемую посредством речевого аппарата (в активных фазах) и воспринимаемую извне, т. е. от других носителей, посредством слухового восприятия (в пассивных фазах), является *универсальным для данного языкового сообщества кодом объективного мировосприятия индивидуума и субъективного мировосприятия языкового сообщества*. То есть индивидуум «объективирует» свою собственную картину мира через её постоянное соотнесение с картинами мира иных индивидуумов в процессе коммуникации, в результате чего вырабатывается и фиксируется в текстах определённый «семиотический интеграл», а, с другой стороны, поскольку таких интегралов (языков) имеется множество, каждый из них представляет собой субъективный код мировосприятия данного языкового сообщества (народа).

Такой подход к языку требует его фиксации, локализации в определённом виртуальном пространстве, находящемся одновременно внутри говорящих и вне их. Соссюр и его последователи в качестве решения предлагают социологически обусловленную модель, в которой пространство языка как системы знаков отчуждается от говорящих и размещается исключительно на некоем межличностном, абстрактно-системном уровне. Якоб Гримм и Август Шлейхер проводят ещё более радикальное отчуждение языка от его носителей, определяя язык как независимый от говорящих организм, подобный жи-

вым организмам и изучаемый в отрыве от человека. Шлейхер (ср. Schleicher 1863: 6–7) говорит о языках как естественных организмах, возникающих независимо от воли человека, растущих и развивающихся согласно их собственным законам, а затем, согласно законам природы, стареющих и умирающих. Языкознание он называет *глоттохронологией* и определяет его как естественную науку, подобную эволюционной биологии Дарвина. Критики такого подхода, во многом сохранившегося вплоть до начала XX в., говорят о неправомерном переносе теории эволюции с живых организмов на явление, кардинально от них отличное и являющееся именно продуктом человеческой деятельности, — язык как знаковую систему. Впоследствии мы вернёмся к данному вопросу, но уже сейчас хотелось бы обратить внимание на явный парадокс: казалось бы, методологически абсолютно неверное определение языка приводит к установлению целого ряда закономерностей его развития, которые в большинстве своём справедливы и сегодня. При этом весьма сомнительно, что иной подход дал бы столь выдающиеся результаты, начиная от установления родства языков и кончая открытиями в сфере их онтологии, генеалогии, а позднее и типологии. Собственно, именно этому подходу лингвистика обязана своим вычленением из других областей знания и становлением в качестве самостоятельной научной дисциплины.

Вместе с тем и классическая концепция языка Гримма — Шлейхера, выдвинувшая, между прочим, на первый (строго говоря, единственный) план его историко-генеалогическое рассмотрение, и структуралистские течения, восходящие к Соссюру и его последователям, поменявшие перспективу с исторической на синхронную, оставляют вопрос о локализации языка как организма или как системы знаков открытым. Компромиссное решение предложено было Хомским (ср. Chomsky 1965: 3), который вводит понятие «идеального носителя родного языка» (*ideal native speaker-listener*)³:

3 «Linguistic theory is concerned with an ideal speaker-listener in a completely homogeneous speech community, who knows its language perfectly and is unaffected by such grammatically irrelevant conditions as memory limitations, distractions,

Лингвистическая теория предполагает идеального говорящего-слушающего в абсолютно однородном языковом сообществе, который в совершенстве владеет языком и не зависит от таких несущественных с точки зрения грамматики условий, как ограничения в объёме памяти, рассеянность внимания и концентрации и ошибки (случайные или характерные) при использовании своих языковых знаний в актуальном языковом общении (перевод с английского мой. — *М. К.*).

Это, безусловно, абстрактная и виртуальная величина, как, например, идеальный газ в химии. В реальности никакого идеального носителя языка быть не может, но в теории подобные конструкты необходимы для того, чтобы, описывая их, можно было приписать им некие общие качества, объединяющие «неидеальные», реальные объекты, отсекая всё «вторичное», индивидуально обусловленное. Так, идеальный газ обладает всеми структурными свойствами каждого реального газа, за исключением тех, что отличают реальные газы друг от друга. Характерно, что Хомский вполне обоснованно говорит не об идеальном языке, но об идеальном носителе реального, конкретного языка, помещая, таким образом, конкретный язык в некий абстрактный, идеально устроенный и лишённый возможностей перформативных (системно-языковых) ошибок и отклонений человеческий мозг. Такая локализация языка отвечает как идиолектальному (антропологическому), так и системно-социологическому подходу. Но, самое главное, она не противоречит органическому рассмотрению языка как самостоятельного организма, при этом показывая, где именно такой язык может быть локализован и как именно он может быть зафиксирован. Тем самым преодолевается разрыв между языком и его носителями, с одной стороны, и устраняется зависимость языка от конкретных носителей — с другой. Чего данное понятие, однако, не включает — это историко-генеалогического измерения, то есть естественной истории естественных языков. Иначе

shifts of attention and interest, and errors (random or characteristic) in applying his knowledge of the language in actual performance».

пришлось бы допустить, что идеальный носитель языка рождается с возникновением языка и живёт вплоть до его смерти. В реальности происходит смена поколений носителей языка, с которой меняется и сам язык. Можно было бы, конечно, ввести понятие идеального носителя данного синхронного среза языка. Но поскольку языковые изменения происходят с разной скоростью и охватывают разное число сменяющихся поколений, данная конструкция была бы едва ли возможной для теории языка, учитывающей его историческое измерение.

Все названные проблемы вполне тривиальны, если принять во внимание, что человеческий язык, подобно живым организмам, имеет свой онтогенез и свой филогенез, которые в целом ряде аспектов обнаруживают точки пересечения. Действительно, процесс освоения родного языка ребёнком вполне может служить моделью развития языка от его зарождения до нынешнего времени. Преувеличивать значение такого моделирования, как это делает, в частности, Д. Лайтфут (Lightfoot 1991; 1999), впрочем, тоже не следует. Руководствуясь теорией принципов и параметров, являющейся одной из составляющих генеративной лингвистики Хомского в её сравнительно позднем варианте (ср. Chomsky/Lasnik 1993, Chomsky 1995), он предлагает изгнать «музу Клио» из теории языковых изменений, ограничившись исследованием того, как ребёнок, изучающий родной язык, постепенно приобретает навыки речевой деятельности, а допускаемые им ошибки, вытекающие из стремления, в частности, упростить и выровнять по принципу аналогии и экономии сложные маркированные языковые формы, рассматривать в плане сценария оптимизации языка в ходе его развития. Обращая результаты таких наблюдений в прошлое, Лайтфут считает возможным объяснить и те изменения, которые в языке уже произошли, — именно как превращение ошибок сегодняшнего дня в нормы дня завтрашнего.

В действительности соотношение онто- и филогенеза в языке отнюдь не столь линейно и однозначно, хотя отрицать его было бы неверно. Ниже будут показаны области пересечения обеих форм языкового генезиса на конкретных приме-

рах. Здесь же ограничимся пока фиксацией того, что язык как объект научного интереса обнаруживает явные признаки естественных, органических объектов (как онто- так и филогенез), в силу чего его инструментализация и рассмотрение в качестве сотворённого людьми средства общения вряд ли оправданы. Дело в том, что, как справедливо подчёркивает Элизабет Лайсс (ср. Leiss 1998: 204–205), инструменталистский подход к языку является одним из главных препятствий для его адекватного, в том числе исторически ориентированного описания, поскольку инструменты отличаются тем, что нас, как правило, мало интересует история их возникновения и развития. Этим инструменты разнятся от природных явлений и естественных организмов. Язык, безусловно, имеет черты и тех, и других, о чём пойдёт речь в последующих главах. Поэтому его адекватное описание предполагает выработку такой модели, которая будет совмещать в себе методологию исследования природных феноменов и артефактов.

Генеративная лингвистика Хомского в её ранней версии, то есть генеративистика «Синтаксических структур» (ср. Chomsky 1957) и «Аспектов теории синтаксиса» (ср. Chomsky 1965), проводит в структуре языка резкую, принципиальную границу между «словарём» как приобретённым, обусловленным рядом внеязыковых факторов языковым знанием *a posteriori*, и собственно лингвистическим, внутренним, врождённым знанием *a priori*, существующим у каждого человека в виде логической мыслительной структуры, связывающей именную и глагольную фразы без их конкретного лексического наполнения, что составляет основу синтаксиса и вообще любого типа грамматической категоризации. Именно благодаря второй, априорной, грамматической компоненте лингвистического знания, обуславливающей языковую компетенцию, каждый человек в состоянии выучить по крайней мере один язык. Таким образом, структурно язык, локализуемый в виртуальном мозге виртуального «идеального говорящего» и являющийся именно в этом его виде объектом лингвистической теории, состоит из переменной величины — словаря (лексико-

на) и постоянной величины — логического синтаксического модуля, который в самом общем виде выглядит как NP — VP (noun phrase / именная фраза — verbal phrase / глагольная фраза). Посредством расширения и усложнения синтаксического модуля возникают *правила*, согласно которым в каждом конкретном языке слова соединяются во фразы, и ограниченный (хотя и весьма большой) набор слов служит основой для порождения гипотетически практически неограниченного числа предложений. *Правилами* называются при этом исключительно системно обусловленные законы порождения фраз, а не правила в значении принятых норм, обусловленных социально и подверженных произвольно вводимым извне изменениям. Укрытые синтаксические модули именуется «глубинными структурами» (depth structures), реализуемыми посредством создания «поверхностных структур» (surface structures), то есть реальных (озвученных) фраз. При этом установить форму глубинной структуры невозможно иначе, как возводя к ней структуру поверхностную, «сокращённую» благодаря логическим процедурам до логической схемы. Объектом лингвистической теории Хомский и его последователи объявили именно поиск глубинных структур, стоящих за структурами поверхностными, как гены стоят за белыми и жёлтыми цветками или молекулярная формула H_2O — за водой. Однако в отличие от генетики или химии экспериментально зарегистрировать глубинную структуру языка невозможно, вследствие чего приходится довольствоваться материалом поверхностных структур, чтобы вывести из них лежащие в их основе синтаксические схемы логического порядка. Все прочие аспекты, которые рассматривались в языковедении до Хомского, включая теорию номинации и вообще вопросы, относящиеся к значению языковых знаков, генеративная теория объявляет «донаучными» (pre-theoretical), поскольку объектом научного знания, получаемого путём построения теории, основанной на научной гипотезе и её эмпирическом доказательстве, по мысли Хомского и его последователей, могут быть исключительно феномены, осмысляемые с точки зрения законов, родственных законам естествен-

ных наук или законам логических построений. Deskриптивная (описательная) сторона лингвистики не может, согласно теории генеративной грамматики, быть самостоятельным объектом научного исследования и выполняет поэтому лишь вспомогательную задачу при построении лингвистической теории, целью которой, как целью всякой теории вообще, является не *описание* феномена, но его *объяснение*.

Ниже будет показано, что такой подход, несмотря на верность постановки общей задачи теории языкознания, неправомерно сужает сферу применения теоретических постулатов до логически устанавливаемых «порождающих схем». Простым доказательством неоправданности такого теоретического редукционизма является, в частности, наличие скрытых, подобно глубинным синтаксическим структурам, механизмов категоризации и правил номинации при возникновении и развитии языковых знаков на уровне словаря, в частности правил мотивации, демотивации и ремотивации, а также грамматикализации в результате так называемого реанализа (англ. *re-analysis*) — по своей сути метонимической процедуры, универсальной для всех языков (ср. Lehmann 1985; 2000, Hopper/Traugott 1993, Heine 1993, Heine/Kuteva 2002, Bybee 1985, Diewald 1997 и др.). Характерно, что эти механизмы в отличие от логических порождающих правил синтаксиса выходят за рамки синхронического исследования языка, и их установление возможно исключительно в исторической (диахронической) перспективе. К сожалению, для постсоссюровской структуралистически ориентированной лингвистики сама постановка вопроса о том, что хотя бы какая-то часть языка не поддаётся теоретическому осмыслению исключительно на синхронном уровне, является почти «еретической» в отношении существующей «синхронической догмы». Исторический аспект языка, согласно этому представлению, является объектом самостоятельного изучения, которое методологически и теоретически не пересекается с исследованием языка как системы знаков на данном «синхронном срезе». В «Курсе общей лингвистики», изданном учениками де Соссюра Балли и Сешэ на основе прослушанных

ими лекций учёного в Женевском университете, когда самого Соссюра уже не было в живых, имеется очень короткая, но весьма характерная глава под названием «Возможна ли панхроническая точка зрения?», где поставленный в её заголовке вопрос получает однозначно отрицательный ответ. Невозможно, согласно этой логике, никакое совмещение синхронического и диахронического метода при изучении конкретных языковых феноменов, каждый из которых может исследоваться только *либо* синхронически, *либо* диахронически. Никакого интегрального решения данная дихотомия не предусматривает в отличие от описанной выше дихотомии языка (*langue*) и речи (*parole*), интегрированных в понятие языковой способности (*langage*).

Аргументированной и всесторонней критике данная дихотомия, вернее, её абсолютизация, подверглась в замечательном труде румынского лингвиста Эугенио Косериу «Синхрония, диахрония и история» (ср. Coseriu 1958), где вводится категориальный (понятийный) интеграл, вполне соотносимый с *langage* в рассмотренной выше дихотомии иного уровня. Этим интегралом является понятие «история», которое в применении к языку совершенно справедливо считается центральным. История для языка, согласно Косериу, представляет собой интегральную, сущностную его характеристику. Язык — прежде всего исторический феномен, причём исторический фактор его бытования присущ как синхроническому, так и диахроническому измерению лингвистики. Это можно сравнить с человеческим организмом, изучаемым медиками и физиологами, каждый этап жизни которого является результатом прожитого до этого этапа времени. «Синхронное» состояние организма человека необходимо соотнести с этиологией, так как без этого оценить его в полной мере невозможно. Одновременно такая оценка позволяет не только верно поставить диагноз, но и с большей или меньшей степенью вероятности прогнозировать будущее развитие. Косериу определяет человеческий язык как накапливаемое индивидуумами и языковым сообществом в целом *знание*. При этом средством накопления лингвистиче-

ского знания является коммуникация на данном языке. Фактор времени определяет историчность языка безотносительно к причинам тех или иных конкретных изменений, которые происходят в его звуковом составе, словоформах, лексических значениях и грамматических функциях языковых единиц и синтаксических конструкций, порядке слов в предложении и т. д. Время, в котором живёт язык, вернее, в котором живут, сменяя друг друга, поколения его носителей, является абсолютным фактором, обуславливающим его динамику и делающим неотвратимыми языковые изменения.

Приведём здесь несколько грубое и не вполне точное, но весьма иллюстративное сравнение. Смерть каждого конкретного человека вызвана теми или иными причинами, но даже если представить себе, что все причины естественной смерти, то есть все те заболевания, от которых умирают люди, будут когда-то устранены благодаря прогрессу в медицине, это не будет означать, что устранённым окажется сам феномен смерти как таковой. Учёные-физиологи и генетики говорят в этом случае о том, что, когда человек не будет больше умирать от болезней, он будет «умирать от смерти». Известны эксперименты, проводившиеся на мышах, которые были поделены на экспериментальную и контрольную группы. Контрольная группа жила без генно-инженерного вмешательства и поражалась обычными свойственными мышам болезнями, от которых каждая отдельная особь раньше или позже умирала. Вторая группа получала инъекции препаратов, максимально, в пределе практически до нуля, сокращавшие факторы риска любых заболеваний, в том числе генетически обусловленное старение организма. Мыши этой группы были несравненно активнее своих сверстников из контрольной группы, причём активность эта сохранялась в течение всей их жизни, которая, однако, хоть и длилась несколько дольше и не была отягощена болезнями и немощами, обусловленными старением, рано или поздно прекращалась. Можно сказать, что, несмотря на преклонный мышиный возраст, они умирали во цвете лет. Но — умирали. Бессмертие невозможно, пока присутствует фактор времени. Невозможна

и неизменность: рождение, рост и умирание являются общей судьбой всего живого, что подвластно времени. Не всегда так быстро и заметно, но меняется также и неживая материя. Можно сказать поэтому, что изменчивость является абсолютным и непреложным маркером категории времени. Приведённый во Введении пример с вымышленным *инсийским* языком говорит о том же, только в отношении интересующего нас предмета — естественного человеческого языка.

Вернёмся теперь к вопросу о том, как лучше представлять себе язык — в качестве независимой от конкретных носителей автономной саморазвивающейся системы или в качестве привязанных к сменяющимся поколениям «идеальных носителей» мозговых файлов, содержащих весь объём лингвистической информации, передающейся *mutatis mutandis* от поколения к поколению. Если подходить к языку как к историческому феномену, оказывается, что это, в общем, безразлично. Важнейшим являются здесь два фактора: фактор развития, по необходимости включающий изменение, и фактор автономности, обуславливающий размещение исследуемого феномена в некоем «идеальном», а следовательно, меж- или надындивидуальном пространстве. Русский язык, например, является не языком какого-то конкретного его носителя, но языком живущего в наше время абстрактного индивидуума, владеющего им в полном объёме и получившего его в наследство от своих, столь же виртуальных, как он сам, предков. Такое представление о русском (как, естественно, и любом другом) языке не исключает, а, напротив, подразумевает его отождествление с автономной саморазвивающейся системой, то есть антропоцентрический подход к языку (при условии его перевода в необходимую для построения адекватной теории абстрактную плоскость) вполне конгениален подходу органическому.

Здесь, конечно, возникает большое число возражений, которые критики представленной выше концепции языка обычно считают достаточными для объявления её несостоятельной. Дело в том, что в действительности мы имеем дело с продуктами речевой деятельности (текстами большего или меньше-

го объёма), устными или письменными, которые привязаны к вполне конкретным авторам, являющимся носителями языка. Во второй половине XX в. в рамках появившейся тогда лингвистики текста как новой отрасли языкознания прозвучал призыв к «онтологизации» языкознания как науки а posteriori, единственным реальным предметом которой являются именно тексты как материальная форма реализованной речи (ср. Hartmann 1971: 15). В действительности, вместо «онтологизации», теория языка достигла здесь, при всех несомненных заслугах лингвистики текста, высочайшего уровня «деонтологизации» объекта исследования, поскольку любой текст является лишь продуктом реализованной языковой способности его эмитента и зависит от целого ряда факторов, не имеющих ни малейшего отношения к свойствам языка. Онтологическая «вторичность» конкретных текстов, в общем, не требует дополнительных объяснений. Вместе с тем понятно, что любая возможность хотя бы иллюзорной эмпирической фиксации объекта исследования для учёного оказывается зачастую приоритетной задачей. Определение языка как *совокупности существующих на нём текстов* имеет поэтому целый ряд преимуществ, выводя предмет языковедческого анализа из сферы спекулятивной теории в область эмпирически несомненных объектов. При этом формально отсутствуют препятствия для рассмотрения языка в качестве исторического феномена, правда, при условии наличия текстов, составленных в разные эпохи его развития.

Тем не менее «текстовый» подход к языку в смысле онтологизации естественного языка через тексты как материальное воплощение языкового кода приводит в конечном итоге к отказу от теории языка в том смысле, в котором мы вообще понимаем теорию любого явления, то есть начисто лишает язык (как совокупность текстов) того уровня абстракции, при котором возможно построение какой бы то ни было теории. Чтобы лингвистика могла претендовать на статус науки, необходимо, чтобы она имела не только «описательную», но прежде всего «объяснительную адекватность» (Хомский). Если мы не в состоянии предложить объяснения причин и механизмов

бытования того или иного феномена и заведомо, на стадии определения данного феномена, ограничиваем возможность его изучения простым описанием и (или) классификацией его составных частей, мы *volens volens* находимся на донаучной стадии его исследования. Безусловно, можно и на этой стадии провести весьма внушительную по объёму привлекаемого материала подготовительную работу, однако подлинные вопросы теории и после этой работы будут ждать своего решения.

Конечно, можно было бы преодолеть возникающую лакуну между конкретно и абстрактно понимаемым языком, занимаясь изучением не «языка вообще», а языка конкретных его носителей, воплощаемого в конкретных текстах, доведя их число до некоего критического порога, за которым можно было бы построить теорию языка на основе полученной «равнодействующей» индивидуальных языков. Подобный подход вполне реализуем, учитывая современные возможности информатики, позволяющие охватить миллиарды примеров из миллионов текстов, затем аннотировать полученный корпус соответствующим образом, после чего, применяя статистические методы анализа, предложить более или менее достоверную теорию каждого из изучаемых сегментов такого усреднённого языка. С другой стороны, используя методы экспериментальной нейролингвистики, можно изучить большое число носителей языка с точки зрения процессов, происходящих в головном мозге при порождении и (или) восприятии множества различных фраз, соотнося при этом информацию, получаемую на «входе», с регистрируемыми на «выходе» данными. Всё это действительно широко применяется в современной лингвистике, всё больше приобретающей междисциплинарный характер.

Вопрос, однако, состоит в том, какого рода теория может возникнуть в результате подобных подходов, даже если вообразить, что на определённом этапе исследований можно будет их каким-либо способом синтезировать и привести к некоему общему знаменателю. Первое, что сразу же бросается в глаза, — это невозможность получения таким образом адекватных результатов, касающихся языковых изменений, по крайней мере,

в филогенезе. Онтогенез изучить здесь, правда, вполне реально, при условии непрерывного наблюдения за текстами, порождаемыми испытуемыми индивидами, в процессе приобретения и развития ими языковых знаний, то есть от первых слов и фраз до достаточно полного овладения языком. Источником же знаний о филогенезе могут служить исключительно тексты, созданные в разные исторические эпохи, однако в силу того, что древнейшие тексты, написанные на большинстве языков, сохранились лишь в незначительных фрагментах, сопоставить их с тем, что нам известно о современном состоянии языков, можно лишь в очень скромных объёмах. Конечно, здесь можно было бы воспользоваться уже упомянутым выше крайне редуccionистским, хотя и по сути своей в известной степени приемлемым, тезисом Лайтфута о механическом переносе онтогенеза на филогенез и отказе от привлечения «музы Клио» для изучения причин и механизмов происходящих в языке изменений. Но одно дело проводить вполне оправданные параллели между индивидуальным и «видовым» развитием, и совсем другое вообще отказаться от второго в пользу первого как целиком его замещающего. Подобные редукции в теории всегда ведут к существенной рассогласованности в выводах и крайне неточным результатам, поскольку степень пересечения онтогенеза и филогенеза никогда не может считаться удовлетворительной для построения сколько-нибудь достоверной теории.

Итак, язык как объект научного исследования, в отношении которого возможно построение адекватной научной теории, должен быть определён как исторический (изменяющийся во времени) феномен, представляющий собой самодвижущуюся систему, локализованную в сознании его носителей и передаваемую в постоянно меняющемся и в то же время достаточно стабильном для обеспечения взаимопонимания носителей виде от поколения к поколению. Описание же языка, а главное, объяснение законов его бытования и развития, возможно лишь при его абстрагировании от конкретных носителей, то есть его понимании как некоей витруальной системы, приписанной посредством необходимой процедуры абстрагирования сме-

нящимся поколениям абстрактных «идеальных носителей». Без ввода этой «лингвистической равнодействующей» любые попытки индивидуализации языкового сознания или сведения задач лингвистики к изучению корпуса текстов обречены на донаучный или околонаучный, квазитеоретический подход. Сказанное вовсе не следует понимать как требование абстрагироваться от анализа фиксируемых в корпусе текстов форм и структур. Понятно, что именно данные формы и структуры, являющиеся результатом речевой деятельности конкретных, а не абстрактных носителей языка, образуют материал любого лингвистического исследования. Однако необходимо видеть и иную, существенную с точки зрения лингвистической теории, плоскость, в которой совокупность анализируемых реальных манифестаций языка в виде текстов представляет собой лишь отправную точку для сведения воедино всех присущих данным формам и структурам общих черт, обуславливающих бытование языка и языковые изменения для языкового сообщества в целом. Именно об этом идёт речь, когда вводится понятие «идеального носителя» в синхронии и «идеальных носителей» в историческом плане.

Что такое время?

Язык как историческое явление *par excellence* целиком погружён во время. На это, в частности, обратил внимание выдающийся румынский языковед, исследователь истории языка и языковых изменений Эугенио Косериу (ср. Coseriu 1958). Казалось бы, это вполне тривиальное замечание. Действительно, как же ещё можно мыслить феномен, который динамичен по самой своей сути? Достаточно вспомнить, что в течение нескольких столетий лет язык меняется до неузнаваемости, так что мы уже не в состоянии понять текстов, написанных, скажем, в XV веке, если не обладаем специальными знаниями в области его истории. Изменение, развитие, как и возникновение и исчезновение (как в случае с мёртвыми языками) — всё это признаки феноменов, для которых время является сущностной доминантой, почему мы и не можем дать их адекватного определения, исключив временную отнесённость. Однако после того, как в языкознании в начале прошлого века произошёл «синхронический переворот» под влиянием трудов Фердинанда де Соссюра и его учеников, а также некоторых других представителей нового, структуралистского направления в лингвистике, роль времени в определении языка существенно изменилась. Конечно, ни Соссюр, ни его многочисленные последователи не отрицали принципиальной историчности языка. Однако они впервые, полемизируя с господствовавшими тогда взглядами так называемой младограмматической школы

на язык как сугубо историческое явление, выдвинули тезис, что методологически вполне возможно рассматривать язык в данный момент его существования как статическую систему. Соссюр (Saussure 1916) противопоставляет «статическую» и «эволюционную» лингвистику как два принципиально различных подхода к языку, исключая при этом синтетическую, «панхроническую» точку зрения, которая позволила бы в какой-то мере примирить оба подхода, не отсекая язык от времени хотя бы онтологически. Впрочем, собственно онтологией языка структурализм интересовался мало. Косериу в принципе принимает соссюровское понимание дихотомии синхронического и диахронического описания языка, но лишь как методологическое решение. Что же касается природы языка, то он настаивает именно на его историчности как стержневом признаке, объединяющем динамизм в синхронии и диахронии. Данная проблема будет рассмотрена в разделах о языковых изменениях. Здесь лишь отметим, что после структурализма вновь заговорить о языке в его историческом измерении как онтологической доминанте вовсе не казалось тривиальным и остаётся весьма актуальным до сего дня.

Но что же такое время и как следует его понимать в отношении языка? В трактате «Тимей» Платон определяет время (χρόνος) как «движущееся подобие вечности». Такое понимание вполне укладывается в рамки платоновской картины мира, где понятийный мир, мир идей является мерилom и подлинной сутью вещей, тогда как мир осязаемых явлений есть лишь его бледная копия. Вечность неподвижна, но и недоступна восприятию, а воспринимаемый мир опосредован временем, движением, которое, не обладая «благородством неизменности», тем не менее содержит, пусть на первый взгляд и противоположное ей, грубое, но всё же реальное отнесение к вечности. Чтобы получить вечность в её идеальной форме, необходимо отсечь время, и тогда подобие станет сущностью, о которой оно сигнализирует в пространственно-временном, вещественном мире. Отсечение же времени в вещественном, материальном мире невозможно. Аристотель в «Физике» говорит о

времени как «мере движения». Здесь акцент явно смещается в сторону собственно воспринимаемого мира. Время не столько уподобляется вечности, сколько само является мерой существования вещей в природе. Движение следует понимать при этом как любое изменение, а не просто как механическое перемещение в пространстве. Блаженный Августин развивает идею субъективного времени, то есть вычленяет из следующих друг за другом событий их восприятие душой человека, сознанием. В этой связи он вводит понятие *distentio animi*, то есть буквально «расширения, растяжения души». Имеется в виду, что время есть особая форма восприятия мира сознанием, способным делить его на отрезки, а именно настоящее, прошлое и будущее. Отрезки эти, согласно Августину, не равны друг другу по своей онтологической сути. Собственно неизменным, хотя и неуловимым, является лишь настоящее, из перспективы которого мы на что-то надеемся или чего-то боимся (будущее) или же о чём-то вспоминаем (прошлое). В *Confessiones* (Augustinus XX: XXVI) он пишет:

Неправильно говорить, что есть три времени: прошедшее, настоящее и будущее, но намного правильнее было бы сказать, что есть три времени: настоящее для (обозначения) прошлых событий, настоящее для (обозначения) настоящих событий, настоящее для (обозначения) будущих событий. Ибо в душе суть сии три вещи, и нигде больше я их не вижу. В настоящем мы вспоминаем прошлое, в настоящем переживаем настоящее, в настоящем ожидаем будущего (перевод с латинского мой. — М. К.)¹.

Интересно, что это понимание времени как категории сознания (или «души») Августином по своей онтологической сути согласуется с последними данными нейрофизиологии, соглас-

1 «Nec proprie dicitur: Tempora sunt tria, praeteritum, praesens et futurum; sed fortasse proprie diceretur: Tempora sunt tria, praesens de praeteritis, praesens de praesentibus, praesens de futuris. Sunt enim haec in anima tria quaedam et alibi ea non video. Praesens de praeteritis memoria, praesens de praesentibus contuitus, praesens de futuris expectatio».

но которым «память имеет ту же природу и “адрес” в мозгу, что и воображение, фантазии; если нарушен гиппокамп, то страдает не только сама память (то есть прошлое), но и способность представлять и описывать. Иными словами, память — “мать воображения”» (Черниговская 2013: 37–38). Историческое время блж. Августин понимает, однако, несколько иначе — как линейное явление, находящееся вне человеческой души, которому он, впрочем, не придаёт центрального значения.

«Объективное» понимание времени Аристотелем находит своё продолжение в системе Исаака Ньютона, вводящего понятие «абсолютного времени», которое равномерно течёт и не имеет начала и конца (ср. Knudson & Hjort 1995: 30). Данная концепция, наряду с ньютоновским понятием «абсолютного пространства» (ср. там же: 155), во многом лежит в основе современного «естественно-научного» понимания времени.

В противоположность Ньютону, Готфрид Лейбниц в понимании времени следует за блж. Августином. Для Лейбница время — не что иное, как способ созерцания предметов в монаде (ср. Weizsäcker 1989: 92–93), то есть относится к сфере сознания, а не бытия. Эту мысль доводит до логического завершения Иммануил Кант, полагавший, что время является априорной формой созерцания явлений (ср. Kant 1787/2016: 52–67). Время, по Канту, субъективно по самой своей природе, а потому любая попытка разума его объективировать приводит к возникновению неразрешимой антиномии между непрерывностью и дискретностью времени, которая имеет как генеалогическое измерение (существовало время всегда или оно когда-то возникло?), так и «практическое» (если время делится на бесконечно малые отрезки, то как возможно его течение, то есть как может «пройти» что-то, что делится на бесконечное число частей?). Эти глубинные противоречия свойственны, согласно Канту, сознанию, а не предмету его созерцания, поскольку сам этот предмет, или «вещь как таковая»², не может быть

2 Одно из центральных понятий, вводимых Кантом для определения непознаваемой разумом «ноуменальной» сферы (в отличие от явленной нам в опыте сферы «феноменальной»), — «das Ding an sich». Каноническим переводом

антиномичен по определению. Мы не можем мыслить чего-то вне времени, но к такому способу мышления нас понуждает не объективно существующее вне нас время, а наше созерцание, априорно «привязанное» к категориям времени и пространства. Человек рождается с вложенной в него, существующей до всякого опыта, способностью мыслить предметы не иначе как во времени и пространстве, в силу чего вообще возможно их познание как явлений.

Кантовская трактовка времени отчасти преодолевается введённым квантовой физикой понятием «планковского времени», где постулируется существование мельчайшего, неделимого мгновения, или *хронона*, составляющего около $5,3 \cdot 10^{-44}$ секунды (ср. Caldirola 1980). Допущение хронона решает проблему непрерывности и дискретности времени в пользу последней, по крайней мере, на уровне *течения* времени, хотя и не снимает её в генеалогическом смысле, то есть на уровне его *возникновения*.

Анри Бергсон (2001; 2012: 56–102) вводит понятие *durée*, перевод которого на русский язык как ‘длительность’ подвергался критике (ср. Блауберг 2003: 624–625). Речь идёт о процессуальности, движении, воспринимаемом сознанием человека как неделимое целое предметной и временной сферы. При этом «длительность» (или «процессуальность», движение) не делится на моменты, но является непрерывным развитием, накоплением субстанции от прошлого к будущему. Весьма существенную сторону концепции Бергсона, позволившую ему говорить об относительности, субъективности времени, отме-

этого термина на русский язык является, как известно, «вещь в себе». Однако данный перевод, на наш взгляд, не вполне адекватно отражает подлинное значение данного выражения. Кант имеет в виду не столько какую-то «вещь в себе», отделимо существующую и противопоставляемую познаваемым предметам, сколько «вещь саму по себе», не явленную, но сущностную, онтологически определяемую. Поэтому мы используем здесь перевод «вещь как таковая», что, как представляется, правильнее, в том числе с чисто грамматической точки зрения, учитывая значение предлога *an* в сочетании с местоимением *sich*, который в обычной речи (в отличие от *in*) переводится не как «в» (*в себе*), а как «по сути», «как таковой» и т. п., ср. *das Problem an sich* ‘проблема сама по себе, как таковая, собственно проблема’.

чает в своей книге Черниговская (2013: 50, 332—333):³ сознание конструирует время, так сказать, «на свой лад», следствием чего являются так называемые временные иллюзии, когда длительность тех или иных событий воспринимается сознанием субъективно, часто смещённо по отношению к тому, что можно было бы считать «естественным течением времени», если бы ему было место в концепции Бергсона.

Мартин Хайдеггер в своём раннем труде «Бытие и время» (ср. Heidegger 1927/1967) пытается разработать онтологическую концепцию времени, относя его непосредственно к категории бытия. Эта концепция отличается от всех предыдущих представлений о сущности времени тем, что время предстаёт в ней не как объективная физическая категория и не как свойство сознания, обеспечивающее восприятие им бытия, а как основное условие самого бытия. При таком подходе время противостоит уже не вечности, а небытию. Здесь картина Платона, который проводит противопоставление по линии «вечность как неподвижность, неизменность и бессмертие» — «время как движение, изменение и исчезновение», в прямом смысле переворачивается. Исчезновение времени конгениально исчезновению сущего, ибо всё сущее может быть таковым лишь внутри времени.

Теория относительности Эйнштейна и развитие квантовой физики в известной степени сгладили противоречия между «объективистской» и «субъективистской» концепциями времени. Первая показала, что относительность времени является

3 Единственное возражение вызывает здесь объединение концепций времени Ньютона и Канта, что означает, в частности, противопоставление кантовской теории времени взглядам Бергсона: «Что считать объективным, говоря о времени? У Ньютона и Канта время субстанционально, а значит, объективно, у Бергсона — субъективно, оно растягивается, сжимается, застывает» (ср. Черниговская 2013: 333). Понятно, что кантовская концепция не тождественна пониманию Бергсона в том смысле, что Кант не рассматривает время как изменчивую категорию, подверженную растяжению или сжатию в зависимости от работы индивидуального сознания, и в этом смысле кантовское время, наверное, можно считать «субстанциональным». Однако эта субстанциональность по своей сути всё равно несравненно ближе Бергсону, чем Ньютону (хотя сам Бергсон (2012: 68—69) отчасти пытается это оспорить), так как у последнего она понимается как вообще независимое от сознания человека, объективное свойство внешнего мира.

не столько субъективным, сколько именно объективным феноменом, поскольку зависит, в частности, от скорости передвижения объекта в пространстве. При скоростях, близких к скорости света, время замедляется. Популярная иллюстрация данного явления содержится в известном «парадоксе близнецов». Когда близнецам исполнилось 30 лет, один из них остался на Земле, а другой отправился в космический полёт на корабле, перемещавшемся в пространстве со скоростью, сопоставимой со скоростью света. Через три года он вернулся на Землю, где три года, прошедшие для него, соответствовали десяткам лет, и увидел, что его брату уже за 80. Впрочем, никакого преимущества от этого молодой путешественник не получил, поскольку субъективно для него прошло именно три года, а для его брата — более 50. Объективность времени здесь совершенно очевидна, поскольку, если в описании парадокса времени заменить близнецов, скажем, одинаковыми электрическими лампочками, то та из них, что улетит в космос со скоростью, близкой к скорости света, по возвращении на Землю будет гореть, а та, что останется на Земле, к тому времени давно перегорит. Да и физиологические параметры близнецов будут свидетельствовать об их возрасте совершенно независимо от их личных ощущений. Иными словами, получается картина, в известной мере противоположная бергсоновскому *durée*. То, что мы привыкли считать критериями субъективности, прежде всего ощущение течения времени рефлектирующим субъектом, оказывается вторичным по сравнению с парадоксальным фактом, что время объективно может протекать неравномерно в разных системах.

Что касается квантовой физики, то она описывает процессы, которые, по словам выдающегося физика Льва Ландау, «можно объяснить, но невозможно себе представить». Это в полной мере относится и к категории времени. Оказывается, что в мире мельчайших частиц объекты ведут себя совершенно иначе, в том числе по отношению ко времени, чем в макромире. В частности, для них характерны иные соотношения между пространством и временем, а траектория движения одного и

того же кванта может быть одновременно разнонаправленной, в результате чего он может оказаться в так называемой суперпозиции, то есть пребывать одновременно в разных точках. Правда, до сих пор нет объяснения того, как суперпозиция связана с позицией самого наблюдателя.

Все концепции времени, сколь далеко бы ни отстояли друг от друга лежащие в их основе представления, объединяет фактор необратимого изменения. Феномены окружающего мира *проявляют* свою временную отнесённость посредством происходящих в них и с ними изменений, и никак иначе. Поэтому и в отношении человеческого языка время играет определяющую роль не только в том смысле, что язык существует лишь во времени, но прежде всего в том смысле, что его бытие (читай, изменчивость) целиком производно от времени: одни его части меняются сравнительно быстро, другие несколько медленнее, третьи как будто вообще неподвижны, и их изменение можно наблюдать, лишь сопоставляя тексты разных эпох, между которыми лежат века. Помимо этого, временная отнесённость языка имеет существенное методологическое значение, касающееся его изучения, то есть предмета и метода лингвистической науки. Даже если полностью принять максиму Соссюра, что язык можно изучать либо как неподвижную систему (то есть безотносительно ко времени), либо как череду изменений (то есть только во времени), то ответ на вопрос, какой именно подход будет соответствовать *сути* языка, не вызывает сомнений. Конечно, чтобы изучать общение на данном языке, приходится абстрагироваться от его изменчивости, но это лишь искусственное «вырезание» относительно стабильного фрагмента его истории в методических целях. Язык по своей глубинной сути совершенно не похож на феномены, изучение которых без учёта фактора времени соответствует их онтологии. Скажем, физические законы или химические свойства веществ вневременны, хотя объекты, описываемые посредством физики или химии, меняются с течением времени. Формула воды была и остаётся неизменной. Вода при обычных условиях будет всегда закипать при температуре 100 °С и замерзать

при температуре ниже нуля. Сколько бы мы ни подбрасывали камень вверх, он всегда упадёт вниз. Природа ветра остаётся неизменной независимо от того, когда именно он дует. Законы, управляющие этими и подобными им процессами, существуют помимо времени, а следовательно, временем при их изучении не только можно, но должно пренебрегать. Совершенно иначе дело обстоит с такими феноменами, как, например, живые организмы или человеческие сообщества. Безусловно, их тоже можно рассматривать на каком-то временном срезе, абстрагируясь от их изменчивости. Но такое рассмотрение всегда оказывается неполным, ущербным. Представим себе для сравнения пациента, пришедшего к врачу. Может ли врач поставить ему диагноз, руководствуясь исключительно его нынешним состоянием? Очевидно, что может, особенно учитывая методы современной диагностики. Вместе с тем такое ограничение, делаемое сознательно, едва ли оправдано. Понятно, что история болезни чрезвычайно важна не только в диагностике заболеваний, но и в оценке прогноза болезни и назначении адекватного лечения. Ещё более адекватная картина будет у врача, если он будет знать, чем болели ближайшие и даже дальние родственники пациента, каковы генетически обусловленные особенности его организма, с кем он общался в последнее время. Подобные выводы, конечно, *mutatis mutandis*, применимы и к языку. При его изучении всегда существенна генетика, исторически обусловленные связи, контакты с другими языками, все происходившие изменения и их механизмы. Без этого совершенно невозможно понять природу языка, его сущность. Именно поэтому историческое изучение языка, природы, сути и механизмов происходящих в нём и с ним процессов, является необходимым условием правильного понимания того, как он сформировался и как живёт в своём настоящем виде, сегодня. История языка — это не одно из его измерений, а глубинная, сущностная природа. Язык, собственно, и *есть история*, то есть развитие, целиком зависящее от фактора времени и обусловленное им, как и жизнь поколений его носителей.

Язык, живущий в каждом человеке в виде врождённой компетенции, обусловлен временем в несколько ином смысле. Согласно идее Хомского, возникновение некоего ментального алгоритма в мозге *homo sapiens* произошло скачкообразно, то есть здесь проявляется дискретность времени, привязанность языка к его «импульсной» составляющей. Однако, однажды возникнув, языковая компетенция впоследствии как потенция, позволяющая изучать хотя бы один язык, у *homo sapiens* остаётся достаточно стабильной и может в этом смысле считаться вневременной. Здесь мы вступаем в область достаточно сложной, но чрезвычайно важной дихотомии между дискретностью, универсальным, вневременным характером языковой способности человека и относительным, непрерывным развитием языка как эпифеномена этой способности. Получается, что качественно новый алгоритм мозга, возникший как центральная отличительная особенность человека по сравнению с прочими представителями живой природы и позволяющий облечь рефлексию в форму линейно организованных (следующих друг за другом) материальных акустических сигналов, так сказать, «выплеснувшись вовне», обретает форму подвижного, изменчивого «материала», целиком погружённого во временную среду. Таким образом, возникновение и развитие языка является как бы отпечатком соотношения времени и «вечности».

Имеет ли право на существование вопрос о происхождении естественных языков?

Отто Есперсен (ср. Jespersen 1922: 418) делает относительно происхождения языка следующее малоутешительное обобщение: «transformation is something we can understand, while a creation out of nothing can never be comprehended by the human understanding»¹. Классик современной теории языковой эволюции Роджер Ласс (Lass 1997: 305) комментирует данный постулат следующим образом: «I'm not sure that this is true, but whether it is or not there is an interesting theoretical problem»². Проблема в теоретическом отношении действительно крайне интересна, однако едва ли её реальный «теоретический потенциал» может быть исчерпан при рассмотрении языка в отрыве от сознания человека, что пытается сделать, в частности, Ласс в своей книге об исторической лингвистике и языковых изменениях, откуда взята приведённая цитата. Дело в том, что, когда мы говорим о происхождении феноменов, локализованных в нашем сознании (скажем, *символов* в широ-

1 «Изменение — это то, что мы можем понять, тогда как сотворение из ничего человеческого пониманию недоступно».

2 «Я не уверен, что это так, но, как бы то ни было, — это интересная теоретическая проблема».

ком понимании), мы неизбежно сталкиваемся с почти неразрешимой в онтологическом смысле проблемой. Приходится изучать, как сознание работает с самим собой, то есть постоянно сочетать субъект и объект познавательного интереса (ср. Мамардашвили/Пятигорский 2011: 24–39). Конкретно о происхождении языка, которое в отношении теории предмета, по мнению авторов, сопоставимо с построением теории смерти³, наступающей, как и появление языка, в момент, который индивидуальное сознание не в состоянии уловить по онтологическим, сущностным причинам, в этом труде говорится, в частности, следующее:

[...] в попытке построения теории сознания или теории смерти фактически обнаруживаемые нами особенности ограничивающих условий вынуждают нас поставить вопрос о необходимости *метатеории* [курсив мой. — М. К.] там, где невозможна теория. И те же самые причины действуют, когда ставится вопрос о метатеории языка, во всяком случае в той части теории языка, которая касается проблемы его происхождения и истории, ибо эта проблема не может быть поставлена по той простой причине, что любая попытка этого описания уже содержит в себе те условия и те средства, происхождение которых как раз и должно быть выяснено. [...]. Мы не можем восстановить язык как девственный факт, перед которым не было языка, а потом язык появился как нечто первичное. Мы можем описывать в диахроническом плане только конкретные структуры какого-то существующего языка, отвлекаясь от проблемы происхождения языка и структуры языка в абсолютном смысле этого слова. Совершенно аналогичное явление присутствует и в онтогенезе языка. До сих пор, строго говоря, совершенно непонятно, каким образом за первые четыре года жизни человек научается языку. Практически получается так, что наступает время, когда он уже овладел элементами языка, и все попытки детерминировать «ситуацию овладения язы-

3 Относительно последней выдающийся польский писатель-сатирик, мастер афоризма Станислав Ежи Лец необычайно метко написал: «Опыт учит нас, что умирают только другие».

ком» какой-то начальной, исходной ситуацией кажутся абсолютно неплодотворными. Мы можем здесь лишь «идти дальше», от этапа, когда он уже овладел «первичными» элементами языка, к последующим этапам его языкового научения, то есть, по сути дела, к этапам расширения его языковой эрудиции, поскольку она уже была дана в 3–4 года. Но каким образом это произошло — детерминистически осознать это практически невозможно, потому что любая попытка детерминистского осознания этого, т. е. детерминистского восстановления начальных условий, уже содержит в себе в скрытом виде сами эти начальные условия. Но это не тот вид начальных условий, который предположительно является генетически предшествующим, — генетически предшествующее начальное условие исчезло и не восстановимо (Мамардашвили/Пятигорский 2011: 25–26).

Приведённая обширная цитата содержит ответ на вопрос о специфике проблемы происхождения языка как в филогенетическом, так и в онтогенетическом аспекте. Вывод авторов о том, что поэтому «наука лингвистика должна принимать факт языка как целое, нерасчленимое с точки зрения его генезиса» (Мамардашвили/Пятигорский 2011: 25) в значительной степени согласуется с дихотомией синхронии и диахронии де Соссюра, где обе составляющие принадлежат именно структурно понимаемым феноменам языка, существующим безотносительно к языковому генезису в онтологической перспективе. Хомский, в свою очередь, решает вопрос достаточно радикально, постулируя способность к порождению фразы на глубинном, мыслительном уровне, именно в качестве того «начального условия», о котором говорится в приведённом выше фрагменте из книги Мамардашвили и Пятигорского «Сознание и символ». Однако он, во-первых, исключает данный, чисто логико-схематический, модуль из числа категорий, связанных со знаковой (символической) природой языка, а во-вторых, постулирует его как языковую компетенцию человека, данную a priori, от рождения, в связи с чем вопрос о её генезисе выводится за скобки теории. Иными словами, способность к генерированию синтаксиче-

ских структур как абстрактная схема соединения потенциальной именной и потенциальной глагольной фразы присутствует у человека от рождения и образует *начальное условие* его языковой компетенции, которая в процессе обучения языку «обрастает» символическими формами как вторичными, поверхностными феноменами, обеспечивающими использование языка в повседневной жизни. Здесь можно привести несколько грубое, неточное сравнение языкового (несимволического, категориально-логического, абстрактно-синтагматического) модуля в мозге человека с такими органами, как, например, глаз или ухо, обеспечивающими ориентацию посредством зрения и слуха, с поправкой на то, что языковой модуль присущ из всех живых существ в том виде, как его понимает Хомский, лишь человеку. Начальным условием зрения является наличие глаза, а начальным условием говорения — не только наличие органов речи, но и — на глубинном уровне — «языкового модуля», локализованного в мозге. При этом, согласно Хомскому, языковая компетенция как начальное условие говорения целиком лежит в сфере скрытограмматических (глубинных) структур, имеющих абстрактно-логическую природу. Концепция Хомского в несколько упрощённой, но нисколько не искажающей её формулировке, может быть выражена так: если принять тезис, что язык состоит из слов и правил их соединения во фразы, то начальным, первичным, априорным, врождённым условием языкового знания являются правила, тогда как сами языковые знаки (слова) располагаются на уровне вторичных, производных, приобретаемых условий. Для концепции языка Хомского крайне важным является поэтому разграничение знания и опыта: если природа знания, то есть сама его возможность, согласно Хомскому, априорна и не зависит от привходящих условий, то опыт приобретается в результате накопления реальных знаний, получаемых, однако, независимо от опыта, в силу наличия у человека (и только у человека) от рождения данного модуля, имеющего глубинную, логико-грамматически организованную природу (ср. Chomsky 1973: 130–132). Сущность знания, данного как возможность, познавательная потенция,

состоит, таким образом, в его природном, органически данном характере, который в своей основе не зависит ни от особенностей конкретного индивидуума, ни от тех условий развития, которые предоставляет ему социум. Эти факторы определяют лишь степень и объём получаемого в опыте знания, но не являются источником познавательной способности, которая в её «грамматико-логическом» виде свойственна каждому человеку.

Идея Мамардашвили/Пятигорского о необходимости метатеории для объяснения феноменов, относящихся к сфере человеческого сознания, практически была неоднократно применена и применяется до сего дня, пусть без сопоставимого терминологического каркаса, в реальной предыстории и истории языкознания. Впрочем, вполне понятно то недоверие, с которым такой подход сталкивается в науке, поскольку, прежде чем говорить о правомерности замещения теории метатеорией, следует выяснить, насколько выводы метатеории вообще сопоставимы с обычными теоретическими обоснованиями, которые используются в тех областях знания, где сознание исследователя направлено не внутрь себя, а вовне, на предметы, принципиально от сознания отличные. Если мы, руководствуясь спецификой предмета нашего исследования, делаем вывод, что его генезис не может в принципе изучаться, скажем, подобно генезису живых организмов, нам необходимо не просто предложить альтернативный подход, но и доказать его научную обоснованность, то есть конгениальность строяемой теории и её постулируемого эмпирического доказательства или опровержения. Если же в итоге наших логических рассуждений получится, что такого рода теории нам создать в отношении запрашиваемого феномена не удаётся, то мы должны будем признать невозможность исследований, касающихся данного феномена в его полноте, и сократить претензии к теории до некоего эмпирически доказуемого фрагмента данного феномена. Всё прочее, скажем, для учёного-естественника, вообще не может претендовать на статус полученного нового знания, ср. достаточно жёсткий и однозначный вывод Нобелевского лауреата Ричарда Фейнмана (Feynman 1967: 159) по поводу, в

частности, попыток учёных-психологов обосновать правомерность нечётких определений спецификой объекта их изучения: «Обычно говорят [...]: ‘Когда Вы имеете дело с психологическими объектами изучения, они не могут быть определяемы абсолютно точно’. Да, но в таком случае вы не можете претендовать на обладание каким бы то ни было знанием о них»⁴. В отношении языка речь идёт конкретно о правомерности постановки вопроса о его происхождении (первичном генезисе) в онтогенезе и филогенезе. При этом для лингвиста, по справедливому замечанию Хуберта Хайдера (ср. Haider 2017: 26), задача упрощается тем, что существенная часть его экспериментов уже поставлена самой природой в виде существования различных языков. Тем не менее вопрос о роли эксперимента (или опыта в широком понимании) при изучении объектов, предельно близких субъекту изучения, когда границы субъективного и объективного предельно размыты, остаётся открытым. Можно ставить «настоящей науке» сколь угодно жёсткие гносеологические рамки, но едва ли это решит проблему тождественности знания в сфере естественных наук и в сфере сознания (то есть, по исконному значению слова, *со-знания*), где всякий эксперимент, объявляемый естественными науками единственным и окончательным критерием истинности или ложности теории, просто в силу специфики этого иноприродного по своей сути знания, подвержен интерпретации, столь же существенной, сколь выявляемый и подтверждаемый экспериментом вывод. Если знание включает в себя интерпретацию, приходится с этим считаться, даже если при этом отказать знанию в претензии так называться. Что делать, если знание о сознании или, если угодно, знание о знании — по самой своей природе не то же самое, что знание, скажем, о строении вещества или о свойствах электромагнитного поля? Можно, конечно, сказать, что в этом случае то, чем занимаются исследователи сознания (или языка в значительных его частях), вообще не является наукой.

4 «It is usually said when this is pointed out ‘When you are dealing with psychological matters things can’t be defined so precisely’. Yes, but then you cannot claim to know anything about it» (перевод с английского мой. — М. К.).

Но это, в конце концов, вопрос конвенции, что считать наукой и каковы её границы. Когда Бертольда Брехта упрекали в том, что его пьесы не имеют никакого отношения к *театру*, он ответил, что будет заниматься тем же самым, даже если придётся переименовать его театр в *таеатр*. Впрочем, с языком дела обстоят не столь драматично. Следует просто ясно представлять себе, какие его черты поддаются объективации, а какие — нет, и применять к соответствующим свойствам языка адекватные методы анализа. Как это обстоит в отношении проблемы происхождения человеческого языка?

Вначале обратимся к истории вопроса. Происхождение человеческого языка занимало людей с древнейших времён, о чём свидетельствует присутствие данной темы в памятниках письменности, дошедших до нас из глубины веков. В самом начале первой книги Пятикнижия Моисея — «Бытии» о возникновении первых слов говорится практически одновременно с описанием сотворения мира: сотворение земли и светил Богом сопровождается их *именованием*, а сам акт творения облекается в словесную форму, причём говорение и действие онтологически тождественны друг другу:

И *сказал* Бог: да будет свет. И *стал* свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. И *назвал* Бог свет днём, а тьму ночью. [...] И *сказал* Бог: да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. И *стало* так [...] И *назвал* Бог твердь небом. [...]. И *сказал* Бог: да соберётся вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша. И *стало* так. И *назвал* Бог сушу *землею*, а собрание вод *назвал морями*. И *сказал* Бог: да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя [по роду и по подобию её, и] дерево плодовитое, приносящее по роду своему плод, в котором семя его на земле. [...]. И *сказал* Бог: да будут светила на тверди небесной [для освещения земли и] для отделения дня от ночи, и для знамений, и времен, и дней, и годов; и да будут они светильниками на тверди небесной, чтобы светить на землю. И *стало* так. [...] И *сказал* Бог: да произведёт вода пресмыкающихся, душу живую; и птицы да полетят над землею, по тверди небесной. [...].

И *благословил* их Бог, *говоря*: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте воды в морях, и птицы да размножаются на земле. [...]. И *сказал* Бог: да произведёт земля душу живую по роду её, скотов, и гадов, и зверей земных по роду их. [...] И *сказал* Бог: сотворим человека по образу Нашему [и] по подобию Нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, [и над зверями,] и над скотом, и над всею землёю, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. [...] И *благословил* их Бог, и *сказал* им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими [и над зверями,] и над птицами небесными, [и над всяким скотом, и над всею землею,] и над всяким животным, пресмыкающимся по земле. И *сказал* Бог: вот, Я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя; — вам сие будет в пищу; а всем зверям земным, и всем птицам небесным, и всякому [гаду,] пресмыкающемуся по земле, в котором душа живая, дал Я всю зелень травную в пищу. И *стало* так (Быт. 1, 3–30).

Неоднократное повторение триады *сказал — стало — назвал* начинает и завершает акт творения словами, вначале вызывая из небытия явления, предметы и живых существ, а затем давая им имена (ср. Morciniec 2009). Интересно, что Бог *в акте творения* произносит *другие* слова, чем в *акте наречения* имён возникшим явлениям. Иными словами, уже в первоначальной «реконструкции» происхождения мира допускается принципиальная множественность имён, присваиваемых объектам. Впоследствии, сотворив человека, Бог наделяет его способностью называть животных, которых Он передаёт в его власть, причём Библия однозначно связывает эту способность человека называть других существ их подлинными, правильными, соответствующими их внутренней природе и сути именами с тем, что человека Бог создаёт по Своему образу и подобию (ср. Grabant 2003: 16); это же свойство, согласно замечанию выдающегося русского теолога и философа о. Сергия Булгакова (ср. Булгаков 1917/1994: 249, 270), позволяет Адаму верно отделить

от прочих живых существ равную ему по природе жену и также наречь ей имя.

И создал Господь Бог человека из праха земного, и *вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою.* [...] Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных, и *привёл [их] к человеку, чтобы видеть, как он назовёт их, и чтобы, как наречёт человек всякую душу живую, так и было имя ей.* И *нарёк* человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым; но для человека не нашлось помощника, подобного ему. И навел Господь Бог на человека крепкий сон; и, когда он уснул, взял одно из рёбр его, и закрыл то место плотию. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привёл её к человеку. И *сказал человек: вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей; она будет называться женою, ибо взята от мужа [своего]* (Быт. 2, 7–24).

Дыхание жизни, «вдунутое» Богом в Адама, позволяет ему, по словам Ю. Трабанта, осуществлять акт наречения, в результате чего имена являются «выдохами человека» («Ausatmungen des Menschen») (ср. Trabant 2003: 16).

Идея предшествования слова действию в акте творения или, по крайней мере, реальной силы языка, творящего, в том числе, предметы окружающего мира, характерна для мифопоэтически представляемой картины мира древнейшего периода развития человечества. В иудео-христианской традиции она занимает одно из центральных мест, сохраняясь и существенно усиливаясь в текстах Нового Завета — достаточно вспомнить начало Евангелия от Иоанна, где Бог именуется Словом (Логосом), Которое является основой и абсолютным началом, пребывающим в недрах Бога до сотворения мира и творящим Вселенную:

В начале было *Слово*, и *Слово* было у Бога, и *Слово* было Бог. *Оно* было в начале у Бога. Всё через *Него* начало быть и без *Него* ничто не начало быть, что начало быть. (Ин. 1, 1–3)

Понятно, что под Словом понимается здесь ипостась Бога, которую ни в коем случае нельзя отождествлять с каким бы то ни было словом человеческого языка. Однако сам факт использования *слова* в качестве метафоры Творца Вселенной крайне показателен. Он свидетельствует о центральном месте концептуальной сферы языка не только в отражении мира человеческим сознанием (что естественно), но и в сотворении мира, что делает данную сферу причастной непосредственной творческой деятельности, порождающей, среди прочего, материальные сущности.

В 1770 году Прусская академия наук объявила конкурс на лучшее объяснение происхождения человеческого языка, на который поступили, в частности, два противоположных по исходной идее труда — работа Иоганна Петера Зюсмилх, написанная в 1766 году (Süßmilch 1766/1998) и работа Иоганна Готтфрида Гердера (Herder 1772/²1789/1982), впервые опубликованная уже после присуждения премии, в 1772 году. Зюсмилх защищал идею божественной природы человеческого языка, тогда как Гердер объяснял происхождение языка естественными причинами, полагая, что язык имеет человеческую природу. Понятно, что объяснение Гердера тоже было далеко от материалистического. Спор касался исключительно вопроса о том, является язык результатом передачи его законов человеку некоей высшей инстанцией, то есть Богом, или же он возникает естественным путём вследствие заложенной Богом «языковой способности» человека как Его образа и подобия. Согласно Зюсмилху, Бог непосредственно *обучал* Адама языку, сообщая ему слова и правила их соединения во фразы. Гердер отмечает этот центральный тезис Зюсмилх и отстаивает точку зрения, согласно которой человек сам *творит* язык в силу присущей ему способности к именованию предметов и явлений окружающего мира, благодаря которой он обладает особым свойством познания, кардинально отличающим его от животных, хотя, по Гердеру, эти последние также имеют некое подобие языка, так что вычленение человека из животного мира имеет эволюционную, а не онтологическую основу. Победа в

конкурсе была присуждена Гердеру, поскольку его объяснение членам жюри показалось более логичным и последовательным. Понятно при этом, что как сам вопрос, заданный авторами идеи конкурса, так и аргументация каждого из его участников имеют мало общего с собственно научной постановкой проблемы и её решением, как они видятся с учётом современных представлений о языке и методах его исследования. Поэтому дискуссия между Зюсмилхем и Гердером сегодня имеет лишь исторический интерес. Дело здесь прежде всего в том, что ни Зюсмилх, ни Гердер не ставят кардинальных вопросов онтологии естественных языков, от ответа на которые могла бы зависеть обоснованность их аргументации. Вместо этого дискуссия заведомо предполагала чисто спекулятивный характер как самих постулатов, так и приводимых в их защиту или опровержение аргументов. Характерно, что вопрос о происхождении языка невозможно разрешить даже «догматически», опираясь на то, как оно описано в Священном Писании. Как было показано выше, Бог именует творимые Им сущности в процессе их создания, однако, создав человека — Адама, «поручает» ему именование животных и своей жены и в известном смысле самоустраняется от содействия ему в этом, лишь глядя на то, как именно Адам назовёт и животных, и жену (ср. Müller 1892: 20). Такое самоустранение Творца ни в коей мере не умаляет Его соучастия в создании языка, но ограничивается созданием необходимого и достаточного условия для этого — «вдыхания Духа» в человека. Парадоксальным образом мифопоэтическая картина возникновения языка в акте сотворения мира и человека оказывается поэтому более «научной», нежели попытка Зюсмилха спекулятивно «приписать» Богу некие действия по *обучению* человека языку. Конечно, объяснить происхождение языка легче всего, если отказаться от самой идеи объяснения, ведь аргументация Зюсмилха является по сути формой такого отказа. Гердер попытался хотя бы отчасти дать, пусть наивное, объяснение, за что, собственно, и был поощрён теми, кто поставил вопрос о происхождении языка именно в данной плоскости.

В 1865 году было создано Парижское лингвистическое общество (Société de Linguistique de Paris), одной из задач которого было обоснование научного подхода к языку и установление круга вопросов, которые в принципе может решить языковедение. Эти вопросы члены общества вознамерились достаточно жёстко отделить от тех, которые лингвистика не способна разрешить в принципе, а потому не имеет права задавать. Во втором параграфе своего устава Société постановило, что оно не будет рассматривать работы, посвящённые происхождению языков⁵. Данное решение напоминает известный отказ Французской академии принимать проекты *perpetuum mobile* задолго до открытия закона сохранения энергии, просто потому, что множество предложенных к тому времени моделей вечного двигателя фактически не работали. Почему это было так, в то время объяснению не подлежало, но под давлением огромной массы негативного эмпирического материала было решено, что вечный двигатель невозможен по каким-то пока неизвестным причинам, а «нужно исследовать то, что есть» (согласно словам президента Лондонского философского общества А. Эллиса, сказанным, правда, позднее, в 1873 году (ср. Stam 1976: 259)), не гоняясь за химерами. Подобной логикой руководствовалось и Парижское лингвистическое общество, что для середины XIX века, когда приоритет методологии естественных наук и эмпирического подхода на фоне теории эволюции Дарвина, открытия клетки, магнитного поля и т. д. достиг своего апогея, было вполне ожидаемо. Правда, в отличие от проблемы вечного двигателя вопрос о происхождении языка так и не нашёл своего окончательного решения, а в последнее время ставится в лингвистике снова, хотя и в иной плоскости. Чарльз Ф. Хоккетт (Hockett 1960: 88) называет решение Парижского лингвистического общества «приметой времени»⁶, что применительно к XIX веку действительно справедливо, хотя,

5 Ср. Bulletin de la Société de Linguistique de Paris 1 (1871), III.

6 «This action was a symptom of the times. Speculation about the origin of language had been common throughout the 19th century, but had reached no conclusive results» (Hockett 1960: 88).

как было показано выше, существуют и вневременные, онтологические причины для подобного скептицизма.

Если рассматривать происхождение языка с точки зрения взаимосвязи онтогенеза и филогенеза, можно предложить ряд более или менее обоснованных гипотез неспекулятивного свойства. Так, Жан Пиаже (Piaget 1923/1983) установил в результате проведённых им в 20-е годы прошлого века экспериментов, что, приобретая языковые навыки, ребёнок пользуется ими вначале для ориентации в окружающем мире, постепенно расширяя сферу своего взаимодействия с ним посредством накапливаемых языковых знаний. Первичной функцией языка в этом случае следует считать познавательную, когнитивную функцию, свойственную «эгоцентрическому» использованию языка. Эгоцентризм ребёнка состоит при этом в том, что он проецирует в мир содержание собственной субъективности (Piaget 1923/1983: 77), считая собственную перспективу единственно возможной (там же: 86). Ребёнка на данной стадии развития не интересует, слышат и понимают ли его окружающие (там же: 21). Лишь впоследствии нарастает роль функции общения, коммуникации, причём коммуникативное использование языка постепенно отодвигает на задний план его эгоцентрическое употребление. По данным Пиаже, на начальной стадии приобретения языковых навыков около $\frac{3}{4}$ высказываний ребёнка носят эгоцентрический характер в описанном выше смысле. Примерно в шестилетнем возрасте количество эгоцентрических, направленных внутрь сознания ребёнка, и коммуникативных, ориентированных вовне, высказываний сравнивается, а к семи-восьми годам их соотношение зеркально переворачивается (там же: 23–24, 44, 48, 71). Исходя из соотносимости онтогенеза и филогенеза, можно было бы перенести данную модель на историю возникновения языка *homo sapiens*. Что дал бы такой перенос для гипотетического разрешения проблемы возникновения естественного языка? Сравнительно немного.

Во-первых, теория Пиаже, как известно, не является единственной, несмотря на весьма солидную экспериментальную базу. Известен его спор с русским психологом Л. С. Выготским,

который, усложнив экспериментальную базу Пиаже, показал, что эгоцентрическая речь ребёнка, пусть опосредованно, социально обусловлена, а внутренний монолог взрослого человека по своей сути — не что иное, как результат восходящей эволюции эгоцентрической речи ребёнка (ср. Выготский 1956). Для Пиаже «досоциальные» этапы речи ребёнка являются подготовительным периодом и сами по себе «ценностью» не обладают, важно лишь их использование как некоей базы для последующей коммуникативной деятельности. Такой подход, возможно, в какой-то степени продуктивен для психологии, но с точки зрения проблемы происхождения языка скорее затемняет, чем проясняет общую картину. Дело в том, что эксперименты Пиаже показали первичность эгоцентрической познавательной функции языка, следовательно, перенося их результаты на филогенез, мы получаем тезис о первичности функции когнитивно обусловленной ориентации и, соответственно, вторичности коммуникативной функции. Помимо этого Пиаже рассматривает аутистическую речь ребёнка, предваряющую собственно эгоцентрическую стадию, как некое лишённое смысла повторение звуков и слогов, выполняющее функцию разминки речевого аппарата для его поэтапного использования в процессе производства сначала эгоцентрической, а впоследствии коммуникативной речи, которая и является, согласно Пиаже, основной задачей языка. Для лингвиста такое понимание языка малопродуктивно. Конечно, разминка предваряет, скажем, спринтерский забег, но едва ли можно считать разминку, а не сам забег, главной задачей спортсмена. Онтологически разминка вторична по отношению к соревнованию в беге, хотя и первична по отношению к нему по времени. Трудно представить себе, чтобы исторически сначала возникла разминка, а потом соревнование в беге. Очевидно, что разминка производна от бега, а не предваряет его, она нужна для достижения лучшего результата, однако возникла из опыта, когда соревнующиеся заметили, что достигают лучшего результата, предварительно разминаясь, а не стартуя, что называется, с места в карьер. Однако с языком всё обстоит ровно наоборот. «Раз-

минка» на этапе овладения языком не может быть осознанным актом, предваряющим речь, равно как и в филогенезе невозможно представить себе «пустую» по своей функции или «предваряющую» коммуникацию эгоцентрическую речь. Ни Пиаже, ни Выготский, таким образом, не решили проблему соотношения познавательной и коммуникативной функции языка в онтологическом и генеалогическом плане. Справедливости ради нужно сказать, что они и не ставили перед собой такой задачи *в лингвистическом аспекте*. Психология же (в том числе психология речи) изначально ставит перед собой другие задачи и решает их в рамках своего теоретического и методологического инструментария. Пересечения с лингвистикой здесь несомненны, однако далеко не всегда однозначны.

Во-вторых, дискуссия о соотношении эгоцентричной и коммуникативной функции языка не решает вторую, чрезвычайно существенную для понимания происхождения языка проблему, а именно вопрос о непрерывности или дискретности человеческого языка. Возникает наш язык как некое продолжение «протоязыков», существующих в живой природе, как более высокая ступень их естественной эволюции или язык является резкой границей, отделяющей человека от прочих живых существ? Изучая языковой онтогенез ребёнка, получить ответ на этот вопрос невозможно по определению, так как здесь мы с самого начала имеем дело с человеком. Сравнение же естественного человеческого языка с «языками» животных, пусть высших, никоим образом не приближает нас к решению вопроса, поскольку язык людей имеет так много черт, кардинально отличающих его от «языка» животных, что эти последние могут в данной паре использоваться исключительно в переносном смысле и стоять в кавычках. Животные передают друг другу лишь определённые сигналы, тогда как язык людей содержит в себе невероятно сложный по своей структуре потенциал, позволяющий использовать его в самых разных, при этом взаимосвязанных, целях: познания, самопознания, общения, выражения эмоций, оценки событий и мыслей, логических построений, воспоминания, прогнозирования, эстети-

ческого воздействия, иронии, «несобственных» высказываний, фантазии и т. п. Один лишь факт *развития* языка, постоянных языковых *изменений*, преобразования его словарного состава, звукового контура и грамматической структуры с течением времени делает человеческий язык феноменом, совершенно несопоставимым с прочими «похожими на язык» системами коммуникации. Всё это, однако, не отменяет принципиальной возможности «вырастания» языка людей из более примитивных явлений, обладающих хотя бы некоторыми сходными с языком функциями. Поэтому теории происхождения языка, существующие на сегодняшний день в лингвистике, делятся в первую очередь, по самой основе поставленной проблемы, на «континуативные» и «дисконтинуативные». Поскольку данные термины по своему происхождению англоязычные и в русском языке в таком виде неудобоваримы, будем говорить в дальнейшем о непрерывности и прерывистости (дискретности) в развитии языковой способности человека.

Теории непрерывности исходят из постулата, что сложность всех известных нам древних и новых языков исключает гипотезу их внезапного возникновения *ex nihilo*. Гораздо логичнее представить себе существование неких доязыковых систем коммуникации, которые были присущи человекообразным приматам и являются источником языка людей, возникающего в результате их постепенной, поэтапной эволюции, постоянно усложняясь и адаптируясь к новым, более сложным условиям и потребностям коммуникации развивающихся представителей *homo sapiens*. Н. Хомский (Chomsky 1996: 30) резонно возражает, что в случае языка мы имеем дело с феноменом, который невозможно объяснить, пользуясь стандартной эволюционной моделью, поскольку естественные человеческие языки никак не выводимы из реконструируемых доязыковых состояний, ибо отличаются от них не количественно, а по самой сути языковой способности человека, языкового модуля его мозга, который должен был возникнуть в результате некоего одномоментного эволюционного скачка (если мы вообще хотим при объяснении языка оставаться в рамках теории эволюции), происшедшего,

по мнению Хомского, около ста тысяч лет назад. При этом, согласно Хомскому (*ibidem*), языковая способность возникает в мозге человека не просто скачкообразно, но и сразу же в совершенном или почти совершенном виде. Сам Хомский пытается доказать, что его теория не противоречит дарвиновской модели эволюции (ср. Chomsky 2004; 2005), поскольку эта последняя вовсе не исключает возможностей одномоментных качественных скачков в развитии видов. В частности, Хомский предлагает применять в отношении языка стохастически (вероятностно) обусловленный подход к эволюционной модели, который, по его утверждению, вполне совместим с принципом эволюционизма. Так ли это, сказать трудно, и во всяком случае данная постановка вопроса выходит за рамки настоящей книги. Сомнительность подобного совмещения, на наш взгляд, имеет весьма серьёзную онтологическую подоплёку. Дело в том, что вероятностное обоснование возникновения и развития живых организмов от амёбы до человека возможно только *post factum* их действительного существования. Без известной «подгонки под результат» подобные обоснования едва ли возможны, поскольку правдоподобие возникновения жизни, особенно с учётом разнообразия её форм, «чисто» статистически едва ли вообразимо. Мы входим здесь в область, где дискуссия всегда явно обременена, так сказать, «идеологически», поскольку теория Дарвина в научном сообществе и сегодня считается настолько непререкаемой, что даже такой авторитет, как Хомский, явно чтобы избежать упреков в антидарвинизме, вынужден говорить о приемлемости «стохастического» дарвинизма при объяснении, в общем, необъяснимого — возникновения языковой способности фактически «на пустом месте», из ничего. Поэтому откажемся от дальнейших спекуляций по поводу совместимости дискретной теории возникновения языка и эволюционной биологии, сославшись ещё раз на приведённые выше слова М. К. Мамардашвили и А. А. Пятигорского, что в отношении языка «генетически предшествующее начальное условие исчезло и не восстановимо» (Мамардашвили/Пятигорский 2011: 26). Совмещая постулат Хомского о существовании языковой

способности *a priori*, от рождения, с необходимым ограничением познавательной претензии в отношении возникновения языка, сформулированным Мамардашили и Пятигорским на основании того, что здесь наше сознание вынуждено оперировать категориями собственного бытия, приходим к выводу, что вопрос о происхождении языка в его обычной постановке не имеет ответа.

Что же касается альтернативных теорий, постулирующих развитие языка под влиянием социальной эволюции от коммуникативных сигналов приматов до современных языковых систем, то здесь спор идёт о совершенно других вопросах. В частности, теория «невидимой руки» в языке, предложенная Руди Келлером (ср. Keller 1994/³2003; Келлер 1997), рассматривает язык как феномен «третьего рода» (наряду с природными явлениями и артефактами), возникающий в результате *незапланированной* деятельности больших групп людей. Язык как объект анализа здесь предельно инструментализирован. Он представляет собой средство общения, используемое членами коммуникативного сообщества, каждый из которых преследует собственные цели, однако их достижение возможно лишь через общение с другими. При целенаправленном индивидуальном языке занимает вполне определённую нишу: он необходим человеку для того, чтобы убедить других членов коллектива, говорящих на одном с ним языке, действовать в его интересах. Это позволяет ему оптимальным способом добиться поставленной задачи, которая, при всём разнообразии её конкретных проявлений, в целом сводится к достижению широко понимаемого социального успеха. Успех этот в обществе зависит прежде всего от двух вещей — приемлемости языкового поведения личности для общества и способности личности посредством языка убедить членов коллектива в оригинальности собственного подхода к разрешению той или иной задачи. Отсюда два антиномичных принципа коммуникации — «говори, как другие» (чтобы тебя поняли и не отторгли) и «говори иначе, чем большинство» (чтобы твои слова бросались в глаза и воспринимались как оригинальное, свежее, новое мнение). При оп-

тимальном сочетании этих противоположных принципов общения посредством языка говорящий на нём человек может обеспечить успешное продвижение по общественной лестнице. Более того, видя, что ему это удаётся, другие члены общества будут стараться подражать ему, в силу чего вырабатываются новые нормы общения, меняется язык, а одновременно возникает запрос на новых смельчаков, ради достижения социального успеха готовых снова ломать привычные нормы языкового общения. Таким образом, язык меняется незаметно для его носителей, как бы по мановению «невидимой руки», сравнимой, скажем, с известной в экономике невидимой рукой рынка и другими сходными явлениями. Никому и в голову не приходит сознательно менять язык, язык меняется людьми спонтанно, в силу того, что именно изменение формы выражения мысли наилучшим образом способствует успешному функционированию «языковых личностей» в обществе.

Как с помощью такого подхода к языку можно объяснить его происхождение? По мысли Келлера, первое, что нужно для этого сделать, — отказаться от любых попыток натурфилософского объяснения языка, от его органической модели. Если язык — лишь инструмент для достижения индивидуумом своих целей в обществе, то и его возникновение должно быть результатом инструментальной функции. Во-вторых, необходимо определить сами цели коммуникации. Какой, скажем, могла быть цель человекообразной обезьяны в стаде? Вероятнее всего, доступ к самым лакомым кускам полученной в ходе совместной охоты добычи. Здесь Келлер полемизирует с теорией, согласно которой язык возникает для наиболее эффективного ведения племенем охоты. Действительно, для этой цели язык вряд ли обязателен, а главное, он едва ли мог бы развиваться и совершенствоваться, выполняя он лишь данную задачу. Скорее всего некий архетип языка создала самая слабая и трусливая человекообразная обезьяна, которой доставались лишь жалкие крохи от трапезы более сильных и смелых сородичей. Дни и месяцы изнуряющего голода и унижения привели, наконец, к тому, что она заметила закономерность между криком членов стада, пре-

дупреждающим об опасности, и тем фактом, что, когда все разбегаются в середине трапезы, на земле остаётся изрядный кусок недоеденной добычи. И бедный, голодный Карлхайнц (этим немецким именем немецкий учёный Келлер называет своего героя) может спокойно пообедать. Таким образом, сигнал опасности получает переосмысление. Когда же вождь племени замечает обман, он начинает пользоваться этим сигналом, чтобы отгонять от пищи своих сородичей. Так возникает первый собственно языковой знак (ср. Келлер 1997: 54–70).

Келлер настаивает на том, что объяснение происхождения явлений «третьего рода», к которым он безраздельно и безо всяких оговорок относит человеческий язык, возможно именно таким образом — с помощью некоей «предполагаемой истории», похожей на сказку, но в отличие от сказки не содержащей никакого чуда и вообще ничего, что не могло бы произойти естественным путём. Современные люди, бесспорно, ставят перед собой цели несравненно более сложные, чем человеко-обезьяна Карлхайнц, однако основной механизм достижения этих целей в процессе коммуникации, согласно теории Келлера, остаётся по сути неизменным. Келлер намеренно подчёркивает отсутствие каких бы то ни было «положительных» или «отрицательных» мотивов в сочинённой им истории, он лишь утверждает, что эта история «правдоподобна» и не противоречит принятой им логике объяснения. То, что кому-то такая реконструкция праязыка может показаться слишком грубой и не соответствующей нашим представлениям о морали и вообще о том, что хорошо и что плохо, для Келлера не является аргументом. Более того, он неоднократно указывает на то, что целый ряд вещей, играющих в социуме весьма продуктивную роль, которые принято оценивать положительно, возникли вовсе не благодаря неким добрым намерениям его членов, а либо случайно, либо как результат качеств или действий его членов, которые сегодня принято считать негативными.

Но нас интересует здесь вовсе не проблема обоснованности нравственного или иного релятивизма при объяснении возникновения языка, тем более, что и так называемые положитель-

ные реконструкции мало чем разнятся от модели Келлера по своим главным параметрам. Выше уже упоминалась гипотеза, что язык возникает как вспомогательное средство оптимальной организации охоты членами стада человекообразных приматов. Иб Ульбэк (ср. Ulbæk 1998: 40–41) утверждает, что язык возник как средство коммуникации, которую он определяет как обмен информацией в условиях повышенного взаимного альтруизма членов первобытных коммуникационных сообществ. Иными словами, язык возникает лишь там и тогда, где и когда действует сформулированный ещё Дарвиным принцип обязательного для выживания данной популяции взаимного альтруизма. Лингвистическая составляющая данного принципа сводится к максиме коммуникации, определяемой как взаимное обязательство обмениваться правдивой информацией. Итак, мы видим, что Келлер выводит язык из прямо противоположной Ульбэку гипотезы, но при этом оба говорят о коммуникативной функции языка как главной движущей силе языковой эволюции и самого возникновения языка.

Здесь едва ли возможно хотя бы вкратце описать все существующие гипотезы происхождения языка, и это не является целью настоящей книги. Сопоставляя приведённые выше модели, мы преследовали цель показать, что при инструментализации языка его генеалогия неизбежно сводится к минимальному набору факторов, способствующих, по мнению сторонников данной концепции, возникновению естественных языков. Их задача поэтому несравнимо проще попытки объяснить язык, так сказать, «из самого себя», оперируя категориями человеческого сознания. Возвращаясь к концепции языка Хомского, обратим внимание читателя на одно весьма показательное для рассматриваемой здесь дискуссии обстоятельство. Несмотря на то что сам Хомский, как уже упоминалось, пытается совместить свою теорию с эволюционной биологией, сторонники классической эволюционной теории, предполагающей, в частности, непрерывность в эволюции средств коммуникации от «языка» приматов до языка человека, уверенно относят его к числу антиэволюционистов, упрекая в том, что

он является одним из немногих исследователей, кто поставил под сомнение дарвиновское объяснение возникновения языка (ср. Ulbæk 1998: 30)⁷. Дело в том, что эволюционная теория, включая теорию развития языка, по самой своей сути с крайним подозрением относится к любым попыткам объяснить явление с помощью дискретных, «прерывистых» моделей, видя в этом косвенное признание некоего «постороннего вмешательства» в естественный ход вещей. Цитируемый здесь сторонник эволюционно-инструменталистской концепции возникновения языка Ульбэк говорит поэтому о *предположительно, якобы* эволюционных моделях возникновения языка применительно к дискретному объяснению. Весьма показательно его деление всех концепций языкового генезиса на основе двух пар антагонистических критериев — врождённой способности/приобретённой способности в результате обучения и непрерывности/дискретности (ср. Ulbæk 1998: 31):

Тип эволюционной модели возникновения языка (Evolutionary model acquisition mode)	Непрерывность (Continuity)	Дискретность (Discontinuity)
Врождённая (Innate)	Бикертон, Пинкер, Ульбэк и др. (Bickerton, Pinker, the present author, and others)	Хомский (Chomsky)
Приобретённая (Learned)	‘Бихевиоризм’ ⁸ (‘Behaviourism’)	Культурализм (Culturalism)

Как видно из приведённой выше теории «невидимой руки» Руди Келлера, данная таблица не исчерпывает всего множества

7 «Chomsky has been one of the few to question a Darwinian explanation of language: ‘Darwinian theory is so loose it can incorporate everything’, he claimed recently» (Ulbæk 1998: 30).

8 По словам самого Ульбэка, «бихевиоризм» взят им в кавычки, поскольку сегодня уже не существует «бихевиористов», так сказать, «в чистом виде». Речь идёт лишь о некоторых чертах исконно бихевиористического подхода к проблеме происхождения языка (ср. Ulbæk 1998: 31).

подходов к проблеме происхождения языка. Вполне возможно также объяснение, нейтрализующее оппозиции «врождённость — приобретённость» и «непрерывность — дискретность». Человекообразная обезьяна Карлхайнц не обучается языку, а, не желая того, создаёт его в процессе реализации своих целей в сообществе своих сородичей, а само возникновение языка при этом одновременно непрерывно и дискретно.

Нет необходимости дополнительно обосновывать точку зрения, наиболее близкую автору предлагаемой книги. Она уверенно размещается в правой верхней рубрике таблицы Ульбэка, с важной оговоркой, что сущность языка как врождённой, дискретно возникшей способности человека не поддаётся дальнейшему раскрытию по самому определению языка как свойства сознания, с которым должно «работать» само это сознание. Дискретность языковой способности является ускользающим от регистрации сознанием человека качественным скачком, неким одномоментным всплеском сферы сознания, который проводит резкую грань между человеком и прочими живыми существами, создаёт языковой модуль в мозге, передающийся затем по наследству как потенция, реализация которой в онтогенезе столь же неуловима, как и в филогенезе.

Очевидно, что чрезмерная инструментализация языка крайне упрощает проблему его происхождения, сводя её к поискам внешних причин. Выше мы уже приводили в этой связи замечание Э. Лайсс (ср. Leiss 1998: 204–205), что инструменты вообще малоинтересны в плане их генезиса, так как создаются для выполнения заведомо известной функции. Если, например, для Хомского язык является эпифеноменом мыслительной способности человека (ср. von Stechow 1993: 7), то для сторонников коммуникативных теорий язык — это эпифеномен его коммуникативной способности (ср. Hartmann 1971: 15–17, Weinrich 1964/⁴1985: 8–9, Heinemann/Heinemann 2002: 243–244). Изучение мыслительных процессов неизбежно ведёт к парадоксам сознания, описанным выше: человек пытается установить те переходные моменты, когда сознание, обретая язык, становится вполне человеческим. Попытки зафиксиро-

ровать, научно описать эти скачки сознания сравнимы с попытками установить точный момент перехода человека из состояния бодрствования в состояние сна, предпринимаемыми самим засыпающим. В то же время инструментализация языка в коммуникативной сфере, снимая практически неразрешимые проблемы его происхождения, не ставит ни одного вопроса, хотя бы косвенно связанного с его подлинной онтологией и производной от неё генеалогией.

Сторонники теории возникновения языка как инструмента общения исходят из постулата, что коммуникативная функция всегда была и остаётся не просто главной и первичной, но в каком-то смысле едва ли не единственной его функцией; все же прочие функции языка являются так или иначе производными от коммуникативной. Если, руководствуясь этим представлением, рассматривать язык как человеческое изобретение, получается, что людьми был создана универсальная система для общения между собой, что-то вроде азбуки Морзе. Размышлять о тайнах происхождения такого рода систем не имеет большого смысла, здесь всё лежит на поверхности. Стул изготавливается, чтобы на нём сидеть, зонт — чтобы скрываться от дождя или солнцепёка, автомобиль — чтобы передвигаться с достаточно большой скоростью по земле, телефон — чтобы разговаривать, находясь вдали друг от друга, язык — чтобы обмениваться информацией, и т. д. Вопрос не в том, можно ли в принципе рассматривать язык именно в этом ряду: в этом нет никаких сомнений. Именно так и объяснял происхождение языка английский философ Джон Локк, автор теории «общественного договора», а его последователь — писатель, философ и экономист Джонатан Свифт популяризировал эту теорию в своём бессмертном романе «Путешествия Гулливера», где жители одной из вымышленных стран, не догадавшиеся о возможности общения с помощью органов речи, общаются путём демонстрирования друг другу обсуждаемых предметов, которые они вынуждены всегда носить с собой, пряча их в бесчисленных карманах сшитой специально для этого одежды. Однако подобный генезис языка имеет совершенно неустранимый

изъян: чтобы создать язык таким способом, человек должен быть вполне человеком и без всякого языка, обладать отдельным от языка и абсолютно не требующим его, совершенным мышлением и всеми прочими качествами развитой личности. Более того, люди должны уметь договариваться о создании языка как инструмента общения, не пользуясь на подготовительных этапах договора о языке никаким языком. Понятно, что современные теории происхождения языка далеко не столь примитивны, как объяснения Локка и Свифта, однако по сути это мало что меняет. Усложняется лишь механизм объяснения происхождения языка как инструмента, но мысль о том, что язык возникает как производное от коммуникативных потребностей и является эпифеноменом коммуникативной компетенции, сохраняется во всех подобных моделях. Если же попробовать совместить инструментальный подход к языку с его органической трактовкой, то мы придём к ещё менее утешительным выводам относительно его природы. Целеполагание пришлось бы в этом случае искать в самой природе, что едва ли оправдано. Человек, нашедший себе укрытие от дождя или зноя под деревом, воспользовавшийся камнем, чтобы разбить оконное стекло, или съевший на завтрак сырое яйцо, может, конечно, предположить, что дерево растёт для того, чтобы заменить путнику зонт, камень — чтобы он мог проникнуть через окно в закрытый дом, а яйцо было снесено специально для утоления его голода. И здесь объяснение стоит в том же ряду, что и при сравнении языка с артефактами. В качестве «зонта», наряду с деревом, может послужить, скажем, виадук, роль камня может взять на себя стул или подсвечник, а вместо яйца голод можно утолить, например, хлебом. Во всех случаях главное — догмат о примате коммуникации и языке как её средстве или инструменте. Проблема, однако, состоит в том, что, как показано выше, онтология феноменов совершенно не обязательно должна быть производной от их функции. Во-первых, у природных явлений вообще нет функций в том понимании, какое мы связываем с функцией языка. Во-вторых, как природные феномены (которые в античной философии именовали

лись по-гречески φύσει ὄν), так и культурные феномены, артефакты (так называемые θεσει ὄν) могут в ходе своего развития многократно менять свою первичную функцию. Достаточно предположить, что первичной функцией языка была, например, когнитивная или экспрессивная функция или, что ещё более вероятно, — что язык является по своей природе органом (специфически человеческой) мысли, подобно тому, как глаз является органом зрения живых существ, как вся конструкция, основанная на инструментальной гипотезе языка, оказывается несостоятельной.

Понятно, что неразрешённым остаётся при этом вопрос о действительных истоках и первичных функциях языка. Предположить о языке в принципе можно почти всё что угодно, поэтому необходимо основываться на известных нам вполне твёрдых и бесспорных фактах. Современная нейробиология и нейрофизиология шагнули достаточно далеко, чтобы версия языкового инструментализма могла существовать хотя бы как более или менее правдоподобная гипотеза. Сегодня не вызывает сомнений факт теснейших взаимосвязей языка и сознания, мышления, мозговой деятельности. Достаточно вспомнить о том, что любые виды нарушения речи, языковой способности (афазия) всегда сопровождают нарушения деятельности мыслительной, чтобы поставить под сомнение идею языкового инструментализма даже в его современном виде, претендующем на научную обоснованность. Однако есть, конечно, и гораздо более глубокие и убедительные причины скептического отношения к инструменталистскому подходу к сущности и происхождению языка. Неким интегралом является здесь сложнейшая сеть мозговых структур (нейронная сеть), отвечающих за сознание и его языковую составляющую (ср. Черниговская 2013: 65—75; 335—360). В отличие от прочих представителей животного мира человек обладает не только сознанием, но и самосознанием, рефлексией; его сознание способно к самоидентификации и самооценке (ср. Черниговская 2013: 36). Возможно, что в определённой мере сравнимые с самоидентификацией способности имеют некоторые приматы, а также дельфины (там

же), хотя опять же невозможно сравнивать эти способности в полном объёме с рефлексией человека, для которой необходим «символический язык, способный представлять будущие события и задачи, нужна способность выйти за пределы своего мира и себя как его центра (если не сказать основного наполнения)» (Черниговская 2013: 36). Черниговская совершенно справедливо отмечает в этой связи, что главной проблемой при постановке исследовательской задачи нейролингвиста и психолога является «объяснение субъективного опыта» (там же). Далее (Черниговская 2013: 39–40) она пишет следующее:

Основным формальным отличием человеческого языка от языков иных видов является всё же открытость и продуктивность, способность к использованию рекурсивных правил. То есть *наш язык принципиально по-другому устроен*. Если продолжать дискуссию о специфичности коммуникационных систем и особенностях интеллекта, то прежде всего нужно точно определить координаты, чтобы не происходило того, с чем мы встречаемся сплошь и рядом, к примеру в трактовке достижений «говорящих обезьян». [...] Успешность коммуникации достигается не только за счёт удачных языковых алгоритмов! Не стоит также исключать из обсуждения тот общеизвестный факт, что язык обслуживает не только коммуникацию, но и мышление.

Остановимся подробнее на приведённой цитате. Два тезиса из неё чрезвычайно важны для наших дальнейших рассуждений о природе и происхождении естественных языков. Во-первых, о чём речь уже шла выше, — констатация факта, что язык человека не по каким-то количественным параметрам, а именно качественно, сущностно, онтологически устроен иначе, чем прочие коммуникативные системы. Во-вторых, верное, хотя, на наш взгляд, несколько робко и неточно сформулированное положение, что язык «обслуживает не только коммуникацию, но и мышление». Само указание на данный основополагающий факт с онтологических позиций подхода к языку чрезвычайно важно, и его следует повторять как можно

чаще, поскольку сведение функционального потенциала языка к коммуникативности неизбежно ведёт к его инструментализации и деонтологизации. Едва ли при этом можно вполне принять формулировку, что язык «обслуживает» общение и мышление, поскольку язык, как мы полагаем, не «обслуживает» неких готовых и существующих отдельно от него функций (что, впрочем, в других местах книги Т. Черниговской сказано предельно ясно), но представляет собой эпифеномен рефлексивной способности индивидуума, фокус понятийного (символизированного) членения мыслительного континуума, без которого данный континуум был бы недифференцированным потоком сознания. На это свойство языка обращал в своё время внимание Эрнст Кассирер (Cassirer 1923/1977), который, вслед за Вильгельмом фон Гумбольдтом, рассматривал язык как средство познания мира и полагал, что познавательная деятельность в целом руководима категориями языка. Непосредственные впечатления, получаемые сознанием от предметов с помощью органов чувств, согласно Кассиреру, бесконечны, а потому организация идей сознанием возможна лишь благодаря знакам, которые упорядочивают восприятие:

Знак не есть просто оболочка мысли, но её необходимый и существенный орган. Он не только служит цели сообщения готового мыслительного содержания, но является инструментом, посредством которого вырабатывается само это содержание и посредством которого оно получает определённую во всей своей полноте. (Cassirer 1923/1977: 18, перевод мой. — М. К.)⁹.

Возможно, одним из наиболее сложных вопросов является проблема соотношения когнитивной и коммуникативной составляющей человеческого языка. Речь не о корреляции двух этих функций в синхроническом понимании, где вполне возможно

9 «Das Zeichen ist keine bloße Hülle des Gedankens, sondern sein notwendiges und wesentliches Organ. Es dient nicht nur dem Zweck der Mitteilung eines fertig gegebenen Gedankeninhalts, sondern ist ein Instrument, kraft dessen dieser Inhalt selbst sich herausbildet und kraft dessen er erst seine volle Bestimmtheit gewinnt».

постулировать как паритет обеих функций, так и статистически обоснованный приоритет одной из них, а об их онтологии и генезисе. Функциональная сфера самых разных феноменов в течение их исторического развития может расширяться или сужаться, и первичные и вторичные функции вполне могут меняться местами. Более того — какие-то функции, которые при возникновении тех или иных явлений были первичными, могут не только становиться вторичными, но и вовсе исчезать, как это имеет место в случаях вроде аппендикса, известных в эволюционной биологии как «экзаптация» (в отличие от адаптации) и заимствованных оттуда в качестве иллюстративных примеров представителями неodarвинистского направления в языкознании (ср. Gould/Vrba 1982: 4–15, De Cuypere 2005: 13–26, Lass 1997: 316–324). Поэтому устанавливать прямую зависимость происхождения феномена (особенно существующего длительное время) от его современного функционирования, как это делает, среди прочих, Р. Келлер (ср. Keller ³2003: 30–31, Келлер 1997: 47), — весьма опрометчиво. В отношении языка этот методологический запрет должен действовать так же, как и в отношении любых сопоставимых явлений, которые подвержены исторически обусловленным изменениям не только своей формы, но и своих функций.

Онтология вообще и тем более онтология феноменов, подобных естественным языкам, далеко не всегда производна от некоей неизменной функции, которая насквозь пронизывала бы их генезис¹⁰. Тем не менее та или иная функция, в особенности если она представляется «самой важной» просто потому, что более прочих приложений объекта бросается в глаза, вполне способна затемнить проблему сущности и генезиса данного объекта. Требуются немалая тщательность и дисциплина в рассуждении о первопричинах рассматриваемого феномена,

10 Почему это так, мне уже приходилось подробно писать в своей двухтомной монографии о развитии языка, написанной на немецком языке и опубликованной в 2005–2007 гг. в издательстве «Винтреферлаг» в Гейдельберге (ср. Kotin 2005: 11; 40–50). Здесь основные аргументы приводятся в сжатом виде, хотя они несколько дополнены с учётом новых публикаций.

чтобы выявить условия, действительно как необходимые, так и достаточные для его возникновения. Образцом такого рассуждения, вернее, собственно, его итога, можно считать вывод М. М. Бахтина (1979: 245) относительно роли коммуникации в онтологии языка. Для возникновения языка, согласно Бахтину, вполне достаточно наличия говорящего и предмета его высказывания, а следовательно, язык возникает из потребности самовыражения и самообъективации. Если язык может *помимо этого* служить средством общения, то данная функция является лишь вторичной, побочной, не затрагивающей самой сути языка. Далее Бахтин замечает, что, хотя при рассмотрении языка нельзя не учитывать чисто коммуникативных факторов вроде характеристик языкового сообщества или, скажем, количества говорящих, однако при определении языка, выявлении его сути все эти признаки нельзя считать не только главными, но и вообще неотъемлемыми и обязательными параметрами.

Из совершенно иной перспективы тот же самый по сути вывод делает Хуберт Хайдер (ср. Haider 2017: 22–25). Сравнивая функционалистский подход в биологии и в лингвистике, он справедливо замечает, что прямое возведение формы к функции всегда чревато ложными выводами: «Функциональные объяснения не являются адекватными объяснениями. Грамматика языка не потому такова, что этого требуют его [языка. — М. К.] коммуникативные функции. Наоборот, коммуникативные функции таковы, какими их делает грамматика»¹¹. Хайдер следует здесь за Хомским, который даёт исчерпывающий ответ на вопрос о соотношении неизменной природы языка и его меняющихся и разнообразных функций. Сущность языка, согласно Хомскому, никак не может быть обусловлена, скажем, функцией информирования. Человек может *использовать* язык как средство информации или дезинформации, прояснения своих мыслей или выставления напоказ своей эрудиции, в це-

11 «Funktionale Erklärungen sind keine gültigen Erklärungen. Nicht weil die kommunikativen Funktionen das erfordern sind Grammatiken so. Die kommunikativen Funktionen sind so, weil die Grammatiken sie so ermöglichen» (перевод с немецкого мой. — М. К.).

лях игры и т. п. Если я говорю *без* цели повлиять на чьи-либо мысли или поступки, я использую язык не в меньшей степени, чем тогда, когда я произношу те же самые фразы *с* этой целью. Поэтому, чтобы узнать, чем является язык, нужно исследовать психические способности человека, лежащие в его основе, а не спрашивать, с какой целью язык используется. Спрашивая, *как* реально чаще всего *используется* язык, мы действительно можем прийти к выводу, что язык человека — лишь более совершенная стадия в развитии коммуникационных кодов живых существ. Задавая же вопросом, *что такое* язык, мы не найдём его сходства с коммуникационными системами животных (ср. Chomsky 1973: 116–117).

Если понимать язык как *эпифеномен рефлексивной потенции* человеческого сознания, облекающий эту его (сознания) органическую способность в форму нагруженных понятиями смыслами акустических сигналов, то вектор всегда будет направлен от мысли к коммуникации, а рефлексия, соответственно, будет первичной по отношению к её трансляции вовне. Если же исходить из того, что язык — это *эпифеномен коммуникативной потенции* сознания, то есть постулировать его (сознания) исконную «социальную составляющую», то язык, наоборот, следует считать вторичным по отношению к взаимодействию индивидов в социальной среде, производным от этого взаимодействия. В этом случае и сама рефлексия ставится в зависимость от языка как средства коммуникации, поскольку лишь в процессе коммуникации происходят не только количественное накопление языковых знаний, но и их качественные изменения. Поэтому, когда, например, такой последовательный эволюционист и сторонник непрерывной теории возникновения языка, как Д. Бикертон (ср. Bickerton 1996: 160), утверждает, что «Language is the hen while human cognition is the egg»¹², нельзя трактовать это его высказывание, так

12 «Язык — это курица, тогда как человеческое мышление — яйцо». В данном контексте это следует понимать как первичность языка по отношению к мышлению, то есть исходить из того, что спор о курице и яйце окончательно решён в пользу генетического примата первой.

сказать, в «гумбольдтовском» смысле или как повторённые им более чем через 200 лет знаменитые слова И. Г. Гаманна (Hamann 1949–1956, т. 3, с. 284): «Das ganze Vermögen zu denken beruht auf Sprache»¹³. Дело в том, что если исходить из коммуникации как основной предпосылки возникновения языка, то и языковое мышление следует определять исключительно в рамках данной логики, то есть как речь, которая развивается и усложняется с развитием и усложнением экологии общения, а потому целиком обусловлена внешними факторами, детерминирующими развитие структур головного мозга и эволюцию речевого аппарата. Более того, даже помимо вопроса о нейронных сетях мозга можно рассматривать преемственность вообще всех существующих в живой природе коммуникационных систем как единый эволюционный процесс. Места каким бы то ни было дискретным скачкам в понимании Хомского в последовательно эволюционной модели с единой — коммуникационной — доминантой практически не остаётся. Звенья единой цепи — от «языка» муравьёв, пчёл, гусей, дельфинов, приматов до языка человека — плавно перетекают друг в друга, и даже качественные изменения вполне укладываются в рамки единого коммуникативного вектора. При этом развитие органов коммуникации оказывается конгениальным развитию самой коммуникации, усложнению её целей и задач и повышению сложности структур, обслуживающих внутривидовое общение. Новые потребности общения ведут к росту и усложнению систем, отвечающих за общение, в том числе и прежде всего — к возникновению на этой базе мыслительных процессов, вплоть до рефлексии, и формированию их органов.

Совершенно иная картина возникает, однако, при допущении, что язык исконно, по своей первичной сущности, является эпифеноменом мыслительной деятельности, интерпретатором и переводчиком мира в сознании человека, а коммуникативная функция генеалогически производна от «первичной рефлексии». Тогда становится понятным, почему не

13 «Способность мыслить целиком основана на языке».

только возможно, но просто необходимо предположить наличие онтологической границы между «языком» насекомых, птиц и животных — и языком человека. Такое понимание языка восходит к античности и обосновывается ещё Аристотелем (ср. Leiss 1998: 207). Язык понимается при этом не столько как инструмент *выражения* (Ausdruck) мысли, сколько как средство её *формирования* (Eindruck) (там же). Таким образом, идея Аристотеля, подхваченная и развитая Гаманном, а впоследствии детально разработанная сначала Гумбольдтом, а потом Кассирером и, наконец, сведённая к сущностному минимуму Хомским, состоит в первичности роли языка как «формообразователя мысли», а следовательно, как органа сознания, отвечающего за свойственную только человеку картину мира, существующую в его сознании. Коммуникативные потребности, даже самые сложные и многофакторные, могут существенно ускорить процессы, ведущие к возникновению и развитию языка, но по самой своей природе никак не могут быть их непосредственной причиной: «В случае с человеческими языками условия селекции не являются условиями коммуникации. Это условия, которые мозг диктует языковой деятельности» (Haider 2017: 24)¹⁴. Поэтому между способностью обмениваться информацией, почерпнутой из внешнего мира, и способностью присвоить себе эту информацию не в её, так сказать, «натуральном виде», а за счёт наличия в мозге абстрактного языкового модуля, соединяющего условное «имя» с условным «глаголом» (то есть того, что Хомский назвал «глубинной структурой»), лежит не просто огромное пространство, преодолеваемое долгим путём эволюции, но не преодолимая *ничем* пропасть: «[...] языки обладают в высшей степени сложными качествами, *потому* что [человеческий. — М. К.] мозг обладает особыми моделирующими способностями. Мозг обезьян этими способностями не обладает, а потому

14 «Bei menschlichen Sprachen sind die Selektionsbedingungen nicht die Kommunikationsbedingungen. Es sind die Bedingungen, die das Hirn der Sprachverarbeitung diktiert» (перевод с немецкого мой. — М. К.).

он не в состоянии освоить человеческий синтаксис» (Haider 2017: 12)¹⁵.

Хомский справедливо относит принципиально новое понимание языка человека в отличие от языка животных (а позднее — и языка самых сложных автоматических устройств) к философской системе Декарта и производной от неё первой картезианской грамматике Port Royal, написанной несколькими авторами-картезианцами в XVII в. в Париже. Именно Декарт, как подчёркивает Хомский, впервые показал, что ни у животных, ни у автоматов нет признаков интеллекта такого свойства, которое позволяло бы генерировать язык. Язык есть поэтому внутривидовая человеческая способность, причём такого рода, что даже во многих случаях тяжёлой патологии, радикально снижающей интеллект, сохраняется владение языком, не свойственное обезьянам, которые при этом могут превосходить человека со сниженным интеллектом в выполнении других операций мышления и адаптации к окружающей среде. Ни у животных, ни у самых сложных автоматов нет того типа мышления, которое обеспечило бы нормальное использование языка человеком (ср. Chomsky 1973: 25). Принимая данный тезис, Хомский последовательно отвергает противоречащие ему положения, из которых особое значение для формирования теории языка в прошлом веке имеют два: (1) бихевиористская идея, подразумевающая возможность построения теории языка на основе изучения корреляций между стимулом и реакцией, и (2) классическая эволюционистская теория, предполагающая постепенное развитие языка людей из языка животных путём накопления и усложнения «материала» в процессе адаптации к окружающей среде. Как первая, так и вторая гипотеза выводят язык человека непосредственно из семиотических коммуникационных систем животных и отрицают принципиальное, онтологическое отличие языка человека от «язы-

15 «[...] Sprachen deswegen über bestimmte hoch komplexe Eigenschaften verfügen können, weil das Hirn spezielle Berechnungskapazitäten dafür anbietet. Ein Affenhirn bietet sie nicht an und ist daher nicht in der Lage, menschliche Syntax zu bewältigen» (перевод с немецкого мой. — М. К.).

ков» прочих живых существ. Языковая компетенция, которой человек обладает с рождения и которая позволяет каждому из нас в той или иной форме и степени выучить по меньшей мере один естественный язык, является, согласно Хомскому, не количественным, а качественным параметром ментальных структур человеческого мозга, которые образуют не «больше того же самого», но качественно иные свойства мыслительной деятельности (ср. Chomsky 1973: 15). Человеческий язык как способность творческого соединения фраз и порождения новых смыслов из имеющегося материала, представляет собой поэтому совершенно уникальный когнитивный феномен. Понимание его природы — это не вопрос *степени* сложности ментальных процессов, а вопрос принципиально иного *типа* этой сложности (там же).

В связи с определением природы человеческого языка Хомский обращается к труду испанского врача и философа XVI в. Хуана Уарте (1530—1588), который занимался, в частности, изучением способностей человека и животных (ср. Chomsky 1973: 22—24). Уарте вычленяет три уровня разума. Низшим из них является «обученный разум», опирающийся исключительно на чувственное восприятие и свойственный как высшим животным, так и человеку. Следующая ступень — «нормальный человеческий разум», выходящий за пределы эмпирически определяемых границ. Он обладает способностью генерирования принципов, на которых основано знание, «из самого себя», собственными силами, без внешнего воздействия, то есть не на основе действия механизма «стимул — реакция», из которого бихевиористы объясняют происхождение и развитие языка. Данный уровень разума позволяет формировать автономное знание путём генерирования нового знания из имеющегося материала. Подобное понятийное мышление, производящее *новые* мысли и формирующее *новые* формы их выражения, которых прежде не существовало, выходит далеко за пределы любого опыта и любых упражнений. Наконец, последняя, высшая ступень разума свойственна не всем людям, а, согласно Уарте, лишь самым выдающимся из них. Она со-

стоит в том, что интеллект способен делать необычайно глубокие, парадоксальные, удивительные и при всём этом истинные умозаключения о вещах, которые никогда до этого не были наблюдаемы, о которых никто не слышал, не говорил, не писал и даже не думал. Этого уровня достигают гении, разум которых выходит за рамки нормального человеческого разума. Понятно, что при изучении языка нас будет интересовать прежде всего второй «уартовский» уровень разума по сравнению с первым. При этом мысль Хомского сводится к тому, что граница между первым и вторым уровнями ни в коем случае не может считаться проницаемой, прозрачной. Между ними лежит пропасть, не позволяющая искать источник «языкового модуля» на первом уровне «уартовского» разума. Главной чертой языкового модуля, характеризующего второй уровень «уартовского» разума, является при этом его «генерирующая способность» (*ingenio*) (ср. Chomsky 1973: 22).

Что представляет собой «языковой модуль»? В первоначальной версии Хомского, которая впоследствии неоднократно подвергалась переоценке из-за многочисленных критических замечаний с самых разных сторон, речь шла об абстрактном логическом модуле, соединяющем именную и глагольную фразу и не зависящем от её конкретного словесного наполнения. Этот модуль, согласно раннему Хомскому (конец 50-х — середина 60-х гг.), дан человеку от рождения, а *prigigi*, и реализуется впоследствии после сообщения ему реального инвентаря лексических единиц и их морфологических форм. Понятно, что подлинным предметом лингвистики оказывается при этом синтаксис, тогда как словарный состав, лексика — по определению вторичны и, строго говоря, относятся не собственно к области лингвистической теории, а к разным соседним с ней сферам, таким, как, скажем, прагматика, культура, социология и т.д. Семиотика в её традиционном понимании также должна исключаться из сферы приоритетного рассмотрения языка лингвистом. Впоследствии внутри генеративной парадигмы велась оживлённая дискуссия, причём обсуждались альтернативные версии генеративной модели, которые предлагали несколько

иначе посмотреть на содержание и функции «языкового модуля» (в рамках так называемого модулярного когнитивизма) или совокупности ментальных и языковых взаимосвязей (в рамках так называемого холистического когнитивизма, который уже вышел за грань собственно генеративных идей). Представители «генеративной семантики» (Джордж Лакофф, Джеймс Мак-Коули, Пол Постал и др.), практически немедленно отреагировавшие на теорию Хомского, выдвинули тезис о необходимости включить некие первичные логико-семантические структуры в теорию синтаксиса как первичные механизмы генерирования фразы посредством «предикатной логики» (ср., среди прочих, Lakoff 1972). Идея состояла в том, что традиционная генеративная грамматика недостаточно учитывает или вовсе не учитывает семантики при построении своей теории. Хотя сам Хомский отчасти признал правомерность этой критики, неустранимым остаётся возникающее здесь противоречие между его тезисом о вторичности знаковой (символической) кодификации понятий по сравнению с глубинной структурой фразы. Одно дело постулировать наличие «пустого модуля», данного от рождения и не зависящего от обучения, который соединяет потенциальное имя и потенциальный глагол в единую потенциальную синтагму, наполняемую всё более богатым лексическим «строительным материалом», осваиваемым человеком по мере приобретения новых знаний, и совсем другое — допустить наличие априорной способности к символизации феноменов внешнего мира на семиотическом уровне. Эта вторая, если она действительно существует, никак не может быть неким расширением языковой потенции, понимаемой абстрактно-синтаксически, а должна пониматься как первичный, иерархически высший модуль. Собственно, сторонники генеративной семантики в итоге пришли именно к такому заключению, что наиболее ярко проявилось в теории метафорической концептуализации, представленной, в частности, в известной концепции Джорджа Лакоффа и Марка Джонсона (ср., в частности, Lakoff/Johnson 1980). Во многом сходные выводы, выводящие, в частности, вопросы так называемого ментально-

го лексикона далеко за рамки собственно семантики, содержат работы Рональда Леннекера, которые уже в конце 60-х гг. прошлого столетия (ср. Langacker 1968) содержат попытку создания первичной модели языкового мышления, основанной на постулировании неких «надязыковых» концептуальных областей сознания. Наконец, Рэй Джекендофф (Jackendoff 2002), автор теории «интерфейсов», связывающих независимые генеративные системы — фонологию, синтаксис, лексикон и семантику, полагает, что первичной является именно семантика, которую он считает исконным генеративным компонентом, обусловившим возникновение и последующее развитие языка. Первая ступень языковой эволюции характеризуется поэтому созданием протолексем путём приписывания значения жестам и примитивным слогам акустической «речи». Грамматика здесь пока отсутствует, но уже есть первичные концепты в звуковой оболочке. Лишь позднее возникает протосинтаксис. «Такой подход, конечно, в гораздо большей мере, чем предшествующие, открывает путь к интеграции различных областей знаний для построения непротиворечивой теории» (Черниговская 2013: 39).

Задачей настоящей книги является, впрочем, не интеграция различных областей знания и создание некоей интегративной теории, а принципиальное разрешение проблемы возникновения и развития человеческого языка, и мы вовсе не уверены, что интегративная эволюционная модель может помочь в решении данной проблемы. Как мы видим из вышеизложенного, попытка наполнить первичную генеративную идею новым содержанием неизбежно привела к концепции, предполагающей отказ от первоначального подхода и к «соединению несоединимого» — обоснованию эволюционно-непрерывного взгляда на возникновение языка и сохранению генеративного подхода. Понятно, что для обоснования возникновения семантически и вообще «концептуально» определяемого феномена языка совершенно необязательно допущение внезапного, скачкообразного перехода от неязыкового индивида к языковой личности, поскольку используемые в коммуникации

концепты всегда производны от феноменов внешнего мира и ими определены по своей первичной природе. Генерирование символов по своей сути, в свою очередь, имеет мало общего с генерированием абстрактных синтагм.

Есть ли выход из этого «теоретического тупика»? Чтобы ответить на этот вопрос, попытаемся вначале, насколько это возможно, его уточнить, то есть прояснить, о чём мы, собственно, спрашиваем. Можно ли в принципе отделить специфически языковой символизм от абстрактной грамматической оси, соединяющей имя и глагол во фразе? Ещё Вильгельм фон Гумбольдт дал на этот вопрос несколько не устаревший до сего дня ответ: *первое слово* (или первые слова), по его мнению, было (были) одновременно *первым высказыванием* (ср. Trabant 1989: 519). При этом Гумбольдт, не отрицая того факта, что первые слова были составлены из простейших слогов, совершенно обоснованно заявляет, что примитивные языки, хотя и могут постулироваться, никогда не были зафиксированы историческим языкознанием. Не исключая возможности существования «доисторической фазы» в развитии языка, он тем не менее вполне резонно ставит под сомнение её решающую роль для объяснения возникновения реальных языков, поскольку язык, по его убеждению, изначально был в распоряжении человека в целостном виде и делает человека тем, что он есть. Язык, согласно Гумбольдту, не выдуман людьми, а «вложен» в них (ср. Humboldt 1903–1936 (4): 284–286). Один из известнейших исследователей концепции Гумбольдта Юрген Трабант (ср. Trabant 1989: 508) напоминает, что первоначальное название лекции Гумбольдта о происхождении человеческого языка, прочитанной им в 1820 году, содержало фразу «...как заложенного в человека непосредственно Богом»¹⁶. При этом речь вовсе не о «обучении» Богом человека языку (как полагал упоминавшийся выше Зюсмилх), а лишь о сообщении человеку *языковой способности*, развивающейся у отдельных людей и целых народов индивидуально и самостоятельно.

16 «...als von Gott unmittelbar in den Menschen gelegt».

Абстрагируясь от «теологической» составляющей гипотезы Гумбольдта, можно видеть в ней по сути тот же стержень, что и у Хомского, а именно, во-первых, примат синтаксиса и, во-вторых, понимание языка как феномена, возникновение которого невозможно вывести из последовательной, непрерывной эволюции предшествующих семиотических систем. Хомский, как почти за полтора века до него Гумбольдт, констатировал онтологическую грань, пропасть между доязыковым состоянием и языком, преодоление которой возможно в силу какого-то одномоментного творческого акта, скачка, качественного изменения, по своей природе отличного от простого перехода количества в качество в результате постепенного накопления однородного материала. Именно в этом смысле следует понимать как высказывание Гумбольдта, что язык по своей природе — не что иное, как «интеллектуальный инстинкт разума» (*intellektueller Instinkt der Vernunft*) (ср. Trabant 1989: 513), так и его широко известное определение языка как «энергии» (в отличие от статически понимаемого «органа» или «орудия»).

Сопоставим теперь гипотезу о синтаксическом модуле как основе языковой компетенции (согласно Хомскому) и эволюционно-семиотический подход к языку. Возможно ли перебросить здесь теоретически приемлемый «мост», который помог бы конкретизировать «языковой модуль», не ставя под сомнение его исконной дискретности и необъяснимости посредством гипотезы о непрерывной преемственности приобретаемых в процессе общения знаний и навыков? Абстрактная синтагма, устанавливающая связь между именной и глагольной фразой, может, несомненно, получить более понятную и конкретную форму, если рассматривать её через призму сущностного отличия имени от глагола. Русский язык предоставляет для этого особенно благоприятные условия, поскольку позволяет увидеть это отличие непосредственно в структуре понятий, выражаемых словами *бытие* и *событие*. Бытийная, статическая сторона мира выражается именами, тогда как отношения между предметами и явлениями, их перемещение в пространстве и изменение во времени, то есть динамическая

сторона, кодируются глаголами. Событие понимается, сверх того, как *со-бытиё*, то есть некая совокупность элементов бытия, а одновременно сопричастность бытию. **Именная фраза служит при языковой интерпретации мира указанием на то, что́ есть, глагольная — на то, что с этим сущим происходит. Их сочленение является глубинным актом познания мира, а потому и глубинной структурой всех потенциальных высказываний.** Все прочие языковые осмысления так или иначе производны от этой первичной оси, на которой располагается всё множество существующих и вообще всех возможных языков. Несомненно, что это разграничение двух основных категорий языкового мышления по определению предшествует прочим категоризациям, в частности, таким «тематическим ролям», как субъект — объект и т. п. в именной системе или внутри глагольной системы — действие, состояние, процесс и т. д.

На вершине семиотической пирамиды находится, таким образом, иерархически высшая категориальная оппозиция, которая в этом её виде «минимально семиотична» и конкретизируется по мере движения «сверху вниз», приобретая всё более отчётливые семантические контуры. Можно ли вообразить, что вся пирамида в целом генетически и хронологически строится снизу вверх, путём постепенного абстрагирования от образов конкретных предметов и действий до создания абстрактного синтаксического модуля, который можно назвать здесь «модулем Хомского»? Безусловно, можно. В этом случае получаем постепенное возникновение языка как итог последовательного абстрагирования исконно предельно конкретной коммуникации. Но если представить себе обратный процесс, а именно возникновение «модуля Хомского» в результате «ментального всплеска», заложившего прочную и неизменную основу для последующего развития базовой модели бытия в сознании путём накопления знаний каждым конкретным индивидом и целым языковым сообществом, то неизбежно придётся провести резкую грань между доязыковым и «языковым» состоянием и допустить, что языковая способность не является производной от способности коммуникативной, а, напротив, сама обуслов-

ливаает эту последнюю. Тогда становится понятной и конгениальность такого проекта филогенеза языка его отнoгeнeзу, при котором в силу онтологических причин утрачивается возможность установления момента перехода ребёнка от доязыкового к языковому этапу жизни. Данный переход в известной мере повторяет упомянутый ментальный всплеск, с тем отличием, что условия для него заранее созданы благодаря наследуемой языковой способности, существующей в форме предрасположенности к членению мира в сознании на *бытийную* и *событийную* составляющие, то есть на *именную* и *глагольную* часть потенциального высказывания. Звуковое и понятийно-семантическое наполнение данного врождённого модуля — это уже вторичное приобретение знаний, находящихся на границе языка и внеязыковых, социально и культурно обусловленных феноменов, по самой своей природе находящихся за пределом врождённых способностей человека и приобретаемых им с опытом, в процессе накопления социально обусловленной информации. Поэтому новорождённый ребёнок теоретически может и не реализовать свою потенциально данную, врождённую языковую компетенцию, но причины её нереализованности будут всегда внешними по отношению к врождённому «модулю Хомского». Зато наличие данного модуля обеспечивает практически неограниченные возможности освоения человеком в будущем как одного языка, так и большого числа других языков, а в рамках одного языка, — освоения самых разных его вариантов и версий (диалектов, койне, жаргонов, литературного стандарта, специальных языков — науки, техники, права, медицины и т. д.). При этом многообразии языков, способное завораживать исследователя, склоняя его к отказу от всяких попыток универсального мышления о языке вообще, в духе картезианской «философской грамматики», не должно затемнять факта их принципиальной общности в построении правил порождения фраз. В. Н. Ярцева (1968а: 72) очень точно замечает в этой связи, что:

[...] в естественном языке есть данные для формализованного описания смысловых единиц и связей между ними. Множе-

ственность языков мира не противоречит этому утверждению, так как сквозь их кажущееся бесконечным разнообразие просупает общая модель.

Другими словами, ещё более определённо и «радикально», то же самое говорит Хомский:¹⁷

[...] теории философской грамматики и новейшие разработки этих теорий полагают, что языки отличаются друг от друга очень незначительно, несмотря на существенные различия в их поверхностной реализации, — стоит лишь выявить их глубинные структуры и раскрыть лежащие в их основе механизмы и принципы.

Возвращаясь к вопросу о соотношении онтогенеза и филогенеза при рассмотрении проблем, связанных с генеалогией языка, отметим, что возникновение «модуля Хомского» в мозге homo sapiens столь же неуловимо и неустановимо на временной оси, как и момент активации этого врождённого модуля у ребёнка, причём причины обоих этих фактов в целом вполне соотносимы. Онтогенез, впрочем, не копирует здесь филогенеза, а проявляется в ином измерении, что совершенно понятно. «Мы знаем, что младенец, рождённый сейчас, генетически мало отличается от рождённого в начале нашей биологической истории» (Черниговская 2013: 339). В отношении языка это означает, что возникший когда-то врождённый языковой модуль не претерпел с тех пор кардинальных изменений, а младенец, рождённый сто тысяч лет назад, если бы его можно было перенести в сегодняшнее время, вполне мог бы в совершенстве изучить, скажем, современный русский язык. Однако модуль или языковой алгоритм является по своей природе лишь условием, абстрактной способностью построения фразы, и его реальное

17 «[...] die Theorien der philosophischen Grammatik nehmen an, daß die Sprachen sich nur sehr wenig unterscheiden — trotz beachtlicher Verschiedenheiten in ihrer Oberflächenrealisation —, sobald wir ihre tieferen Strukturen aufdecken und ihre Grundmechanismen und -prinzipien bloßlegen» (Chomsky 1973: 126) [перевод с немецкого, по немецкому изданию, мой. — М. К.].

наполнение целиком погружено во временную ординату, а следовательно, изменчиво. Можно принять утверждение, что неизменность языка как потенциала от момента его возникновения, как способности соединения символической кодификации бытийной и со-бытийной сферы рефлексии, сохраняется лишь в самом общем виде, тогда как его изменчивость на временной оси проявляется в том, что конкретные формы реализации данного базового алгоритма по своей природе динамичны и изменчивы.

Зададимся теперь иным вопросом, который в языкознании с давних пор является дискуссионным: каким образом возникает множество языков? Возможных решений здесь два, и оба они должны рассматриваться практически в отрыве от онтогенеза и во многом ограничиваться сферой филогенеза, что усложняет исследовательскую задачу и ослабляет убедительность доводов, добываемых не из двух источников, как обычно (онтогенез и филогенез), а только из одного (филогенез). Первое решение предполагает моногенез, то есть возводит все существующие и мёртвые языки к одному источнику, протоязыку, на котором говорили самые первые люди, обретшие тем или иным образом языковую способность. В этом случае следует выдвинуть гипотезу, где именно (географически) возник протоязык и определить хотя бы приближённо, гипотетически его разделение на диалекты, формирование на их основе новых языков, распространение этих языков, их дальнейшее деление, процессы дифференциации и вторичной интеграции в результате языковых контактов и т.д. Но в целом модель происхождения языка и языков логически должна быть центробежной. Второе решение полицентрично, оно предполагает наличие одновременно или разновремененно нескольких географических центров, где независимо друг от друга возникают разные протоязыки, которые в дальнейшем делятся на диалекты, в свою очередь, взаимодействующие между собой и между диалектами, приходящими вместе с их носителями из других автономных центров возникновения протоязыков, в результате чего формируются новые языковые общности. Это модель полигенеза,

она тоже центробежна, но имеет в виду исконное наличие нескольких центров.

В настоящее время более распространена идея языкового моногенеза: согласно данной концепции, «семиотический рубикон» впервые был перейдён около 150 тысяч лет назад представителями *homo sapiens*, населявшими саванны Северной Африки (ср. Барулин 2007; 2012). Эта концепция хорошо согласуется с теорией грамматического взрыва, тогда как полигенез по логике построения своей центральной гипотезы скорее ставит под сомнение взрыв, который должен был бы произойти одновременно в разных местах земного шара, населённых существами, у которых в принципе мог бы возникнуть язык. Помимо этого, полигенез в принципе отодвигает возникновение языка на несколько сотен тысяч лет (ср. Черниговская 2013: 78), что сегодня в принципе принимается как один из вполне вероятных сценариев, хотя прямо вытекающий отсюда полигенез тем не менее остаётся менее распространённой концепцией.

В целом обсуждаемые в этом кратком очерке проблемы происхождения языка могут получить лишь крайне ограниченное решение, если вообще здесь уместно говорить о решении вопроса, сама постановка которого, как было показано выше, может быть только парадоксальной. Реконструкция состояния сознания, предшествующего появлению качественно нового состояния, невозможна из перспективы лишь этого нового состояния, поскольку здесь мы вынуждены пользоваться готовыми формами (алгоритмами) для объяснения *возникновения* данных алгоритмов. Это можно сравнить с человеческой памятью. Сколь далеко бы ни продвинулась наука в объяснении механизмов памяти и её типов, мы не можем объяснить, а тем более представить себе момента её возникновения. Человек помнит себя и события окружавшего его в прошлом мира, во-первых, лишь с определённого возраста и, во-вторых, всегда лишь фрагментарно и далеко не всегда адекватно. В какой-то момент развития мозга в нём происходит «нечто», что в течение последующей жизни человека позволяет его сознанию обра-

щаться в прошлое. Этот момент невозможно зафиксировать по простой причине — для этого нужно было бы воспользоваться памятью, которой перед этим просто не было. Приблизительно то же самое происходит и с нашим языком, который мы получаем от рождения как некую потенцию, раскрывающуюся лишь начиная с определённого возраста, причём раскрывающуюся сразу же в полном объёме, если говорить о глубинном языковом алгоритме, но на поверхностном уровне постепенно нарастающую, если иметь в виду накопление объёма языковых знаний. Нет никаких оснований полагать, что онтогенез здесь абсолютно несопоставим с филогенезом. Гораздо вероятнее, наоборот, предположить, что возникновение языкового алгоритма у *homo sapiens* подчиняется, в общем, сходным законам, что и его проявление у каждого индивидуума. Однако сказать о происхождении языка что-либо большее едва ли возможно. В этом смысле верно замечание российского философа В. В. Бибихина (2015: 131): «Всечеловеческий язык ускользает от исследовательской хватки. Он слишком близок к нам, чтобы мы сумели его заметить». Здесь необходимо более детально и с разных точек зрения рассмотреть вопрос о языке как феномене, «близость» которого размывает оптику исследователя. Данная проблема поднималась в трудах самых разных учёных и философов.

Психолог Вольфганг Кёлер (Köhler 1940) обратил внимание на то, что психологи в отличие от учёных-«естественников» не могут открывать абсолютно новых областей, поскольку уже в начале их работы не существует совершенно неизвестных ментальных фактов, которые они могли бы открыть. Возможно лишь раскрытие, теоретически адекватное описание того, что на интуитивном уровне известно каждому человеку, пользующемуся своим разумом. Хомский (Chomsky 1973: 41) справедливо замечает, что, например, элементарные открытия классической физики вначале нередко вызывали эффект шока, поскольку, скажем, эллиптическая траектория полёта физических тел или гравитационная постоянная недоступны человеческой интуиции. В отличие от этих явлений «менталь-

ные факты», феномены нашего сознания, которые по своей природе лежат ещё глубже фактов физических, тем не менее не могут быть «открыты» психологом, потому что они являются предметом интуитивного знания и воспринимаются в момент их выявления как нечто само собой разумеющееся.

Людвиг Витгенштейн (Wittgenstein 1953: § 129) пишет в связи с этой и подобными проблемами: «Важнейшие для нас аспекты вещей в силу их простоты и повседневности скрыты. (Мы не замечаем этого, поскольку это находится у нас перед глазами)»¹⁸.

То, что в случае изучения сознания или языка мы максимально приближаемся к объекту, даже вовлечены в него, не только исключает свойственную естественным наукам эвристичность мышления, проистекающую из принципиального различия между познающим субъектом и познаваемым объектом, но и, с другой стороны, налагает существенные ограничения на наши познавательные возможности, о чём уже говорилось выше в связи с концепцией сознания, представленной, в частности, в трудах М. К. Мамардашвили и А. М. Пятигорского. Поэтому мы пользуемся самыми различными инструментами, позволяющими нам «отстранить» от себя объект нашего изучения. Подобные механизмы, впрочем, свойственны не только научному, но и обиходному сознанию, повседневной практике или, скажем, литературному творчеству. Так, российский литературовед Виктор Шкловский определял одну из функций поэзии как средство «остранения» описываемого объекта, на что в своей книге о русском формализме обращает внимание В. Эрлих (Erlich 1965: 150–151). Люди, живущие у моря, настолько привыкли к шуму волн, что его уже не слышат. Подобно этому мы едва прислушиваемся к собственной речи. Постоянно видя друг друга, мы друг друга не замечаем. Поэтому, по мысли Шкловского, целью поэта является вернуть изображаемое в сферу нашего восприятия. В качестве примера

18 «Die für uns wichtigsten Aspekte der Dinge sind durch ihre Einfachheit und Alltäglichkeit verborgen. (Man kann es nicht bemerken, — weil man es immer vor Augen hat)» (перевод с немецкого мой. — М. К.).

Шкловский приводит рассказ Льва Толстого «Холстомер», в котором общественные установления и привычки остраиваются посредством их изображения из перспективы рассказчика, являющегося лошадью.

С известными оговорками можно принять, что лингвист, если он желает «успешно» анализировать языковые способности на основе продуктов человеческой речи, имеющихся в его распоряжении, должен так или иначе пользоваться сравнимой техникой остранения, которая, впрочем, всегда ограничена в силу того, что предмет его анализа (язык) постоянно пересекается с однородным ему инструментом анализа (языком). Приходится поэтому постоянно изобретать специальные приёмы и прибегать к специальным средствам, позволяющим остранить предмет исследования, среди которых важнейшим является, безусловно, широко понимаемый метаязык. Но и здесь языковед подстерегает опасность использования понятийного аппарата, который в силу сопоставимости с нетерминологическими значениями его научных сигналов всегда неточен или неполон.

Относительно того, как мы подходим к явлениям вроде языка или сознания, образующим наиболее близкую к нам область феноменов, Хомский (ср. Chomsky 1973: 46–48) замечает, что мы ожидаем полной прозрачности касающихся их объяснений и доступности этих объяснений для нашего понимания. Мы полагаем, что объяснения того, что составляет часть проживаемого нами повседневного опыта (как, например, язык), не должны отстоять слишком далеко от того, что мы наблюдаем «на поверхности». Величайшей ошибкой классической философии духа (мышления и сознания), причём как рационалистической, так и эмпирической, согласно Хомскому, является то, что эта спонтанная гипотеза никогда серьёзно не ставилась под сомнение. Мы просто ограничиваемся, как само собой разумеющимся фактом, «верой» в то, что свойства и содержание нашего разума вполне доступны непосредственной интроспекции (самонаблюдению). Эта ошибка была унаследована бихевиористическими («поведенческими») и структуралистскими

теориями языкознания (Хомский имеет в виду, соответственно, школы Блумфилда и де Соссюра). Отсюда следует совершенно неоправданный вывод о том, что сознание и мышление по своей структуре почему-то должны быть более простыми, чем любой другой физический орган, и что самые примитивные гипотезы вполне могут быть адекватны предмету исследования, определяемому как поведенческая структура или сеть ассоциативных связей. Из такого понимания вытекает ложный посыл, что языковая способность — это свеобразное «ноу-хау», некий хорошо освоенный навык, который можно адекватно описать в терминологии импульсов и реакций. Вот почему знание языка, согласно данному подходу, приобретает и совершенствуется путём повторения и закрепления.

Хомский предлагает альтернативный подход, согласно которому, если мы хотим достичь реального прогресса в изучении языка в частности и человеческих когнитивных способностей в целом, необходимо установить некую «психологическую дистанцию» по отношению к «ментальным фактам», отталкиваясь при этом от несомненного постулата, что даже самые знакомые нам феномены требуют объяснения и обладают сложной структурой с высокой степенью абстракции, а потому у нас нет никакого привилегированного положения по сравнению с физиологами или физиками, изучающими свои объекты (ср. Chomsky 1973: 48). По его мнению, *глубинные, скрытые от непосредственного наблюдения* организующие принципы языковых феноменов являются такой же реальностью, как и наличие самих этих феноменов, *доступных нашему непосредственному эмпирическому опыту* (там же). Лингвист-теоретик призван вскрыть, обобщить данные механизмы языкового бытия и придать им возможно более строгую научную форму описания¹⁹.

19 Хомский и его последователи пользуются, как известно, специальными схемами, призванными «раскрыть» лежащую в основе реального предложения (поверхностной структуры) логическую модель связи именных и глагольных фраз (глубинную структуру). При этом возникают кардинальные проблемы, требующие теоретического осмысления, хотя на поверхности они кажутся нам надуманными — именно в силу «близости» языка нашему мышлению. Скажем, не только простые говорящие, но и большинство лингвистов не ви-

Несомненно, и критика Хомским истории и современного состояния языкознания как преимущественно описательной, а не теоретической, «объяснительной» дисциплины, и предлагаемые им пути разрешения стоящих перед ним проблем, являются совершенно обоснованными. Во многом открытым остаётся, впрочем, вопрос о том, как именно мы можем достичь того же уровня остранения объекта, что в физике или физиологии, изучая язык с помощью языка и исследуя феномены рефлексии посредством рефлексии. Сам Хомский прекрасно осознаёт, что в данном случае мы сталкиваемся с почти непреодолимыми препятствиями, обусловленными самой природой

для ничего необычного в том, что в предложениях *Мама спросила, что надеть* и *Мама сказала, что надеть* глагол в инфинитиве в первом случае контролирует подлежащее (надеть ЭТО будет мама), а во втором — (подразумеваемое) дополнение (надеть ЭТО будет адресат маминого обращения). Понятно, что глаголы *говорить* и *спрашивать* по своей семантике принципиально отличаются друг от друга. В первом случае речь идёт о простом переводе прямой речи в косвенную, а коррелирующее с глаголом местоимение *что* сохраняет вопросительную семантику, свойственную также глаголу *спрашивать*. Во втором случае глагол *говорить* исключает вопросительную семантику коррелирующего относительного местоимения, которое выступает как референт реально называемого предмета. Но для теоретика языка главным вопросом является вовсе не чисто описательное «объяснение» этого различия, а ответ на «скрытый», а потому теоретически приоритетный вопрос, а именно: почему столь различные глубинные логические схемы реализуются посредством идентичной поверхностной структуры? Как происходит трансформация, переход глубинной структуры в поверхностную в первом и во втором случае? (ср. Vendler 1964: 67; Chomsky 1973: 98). Тривиальность в объяснении данного различия является поэтому кажущейся, но источник такого заблуждения также понятен — это близость к нам того феномена, которым мы пользуемся в повседневной речи и который одновременно изучаем, в силу чего нам представляется излишним поиск подлинных, скрытых от нас механизмов функционирования естественного языка. Впрочем, достаточно заместить инфинитивную конструкцию в приведённой выше паре примеров на придаточное предложение, как сразу становится понятна глубина сложности проблемы. В предложениях *Мама спросила дочку, что она наденет* и *Мама сказала дочке, что она наденет* контроль субъекта и объекта зеркально противоположны паре примеров с инфинитивом. Очевидно, что причиной этого является модальность (необходимость, указание), которая разворачивает контроль подлежащего/дополнения на 180 градусов, что является выводом, имеющим теоретическое значение и во всех отношениях нетривиальным. Приведённый феномен ясно показывает, в чём состоит сущностное различие человеческого языка от всех прочих коммуникационных систем.

изучаемого явления, однако не решается признать онтологический, сущностный, а не «временный», в принципе устранимый, характер этих препятствий. Тем не менее он пишет:

Честность принуждает нас [...] признать, что мы сегодня, как и Декарт триста лет назад, далеки от понимания того, что позволяет человеку говорить так, что его речь продуктивна, свободна от регулирования стимулами и одновременно является связной и адекватной (Chomsky 1973: 28)²⁰.

Объяснить данную теоретическую коллизию фактом специфики языка как объекта сознания, сама сущность которого делает невозможным полный охват объекта исследования сознанием исследователя, как это делают Мамардашвили и Пятигорский (см. выше), Хомский, однако, не пытается.

Попытка создать некую ментальную дистанцию между исследователем и объектом исследования, находящимся не просто вблизи от него, но прямо у него *внутри*, обусловлена стремлением максимально приблизить обоснованность гипотез и достоверность получаемых результатов к уровню, имеющемуся в естественных науках. Однако здесь возникает дополнительное осложнение, которое Хомский — возможно, просто в методологических целях, как в своё время в отношении своей дихотомии синхронии и диахронии де Соссюр — предпочитает «не замечать». Всё, что касается его критики недостатков чисто дескриптивных подходов к феномену языка, является совершенно справедливым. Вместе с тем его требование формализовать язык подобно тому, как формализуются природные объекты в естественных науках, наталкивается на то практически непреодолимое препятствие, что обусловлено именно онтологической сущностью языка как объекта и *одновременно* инструмента собственного познания. Поэтому сами по себе

20 «Die Ehrlichkeit zwingt uns [...] zuzugeben, daß wir heute noch ebensoweit wie Descartes vor dreihundert Jahren davon entfernt sind, zu verstehen, was einen Menschen befähigt, auf eine Art und Weise zu sprechen, die produktiv, frei von einer Regelung durch Stimuli und zugleich kohärent und angemessen ist» (перевод с немецкого, по немецкому изданию, мой. — М. К.).

требования применять микроскопическую или телескопическую оптику при анализе языковых феноменов всегда будут ограничены в возможностях своего реального выполнения по сущностным причинам: можно избрать телескоп для изучения планет и звёзд или микроскоп для изучения насекомых, но если микроскопу или телескопу будет дано задание изучить самого себя, то справиться с ним он вряд ли сможет. Конечно, *мыслящий* и *говорящий* аппарат на основе интроспекции и сопоставления продуктов собственной речи с продуктами речи своих оптических собратьев мог бы делать определённые выводы, касающиеся закономерностей своих функций, однако все эти выводы были бы неизменно заключены в достаточно жёсткие рамки, выход за которые запрещён самим фактом *самоизучения*.

Поэтому, когда Мамардашвили и Пятигорский (2011: 25) предлагают *метатеорию* для изучения фактов сознания и языка, они пытаются именно *реально* создать ту самую необходимую дистанцию между сознанием и объектом, о которой пишет, но которую помещает внутри, а не вне привычных теоретических рамок Хомский. Подобно этому, введение в повествование непривычной фигуры лошади в роли рассказчика в «Холстомере» Толстого с целью радикального поворота угла зрения, смена не оптики, а самой исходной точки рассмотрения предмета, может помочь нам разобраться в некоторых его особенностях.

Именно такой подход содержит библейское повествование о том, как Бог творит и именует вещи и явления, а потом передаёт эту последнюю способность (не к сотворению, а к именованию) сотворённому Им человеку, чтобы увидеть, как человек справится с этим «заданием», то есть насколько он (Адам) проявит себя в акте именовании животных, а потом и своей жены, как Его образ и подобие (см. подробное описание данной проблемы выше). Человеческий дух наблюдается и оценивается здесь высшим по отношению к себе, Божественным Духом. Понятно, что данный отрывок из Книги Бытия не является научным анализом, но именно он создаёт на ином уровне ту необходимую дистанцию, которая отсутствует в непосредственном анализе фактов сознания самим этим сознанием.

Почему изменяется язык?

В предыдущих разделах приводилось замечание Косериу, что фактор времени определяет историчность языка безотносительно к причинам тех или иных конкретных изменений. Всё, что погружено во время, подвержено изменениям, а следовательно, язык *должен изменяться*, будучи историческим феноменом. Универсальность фактора времени в отношении *человеческого языка* действительно не подлежит сомнению. Но её возведение исключительно к развитию коммуникативных потребностей более чем сомнительно. Если восприятию мира *человеческим сознанием*, облечённым в знаковую форму, действительно свойствен *динамизм* как онтологическое качество, то коммуникативная функция сама по себе не обуславливает и не обеспечивает развития инструмента общения, даже несмотря на всепоглощающую, казалось бы, универсальность фактора времени. «Дельфины всех морей говорят на одном своём языке» (Бибихин 2015: 271). От себя добавим — на «языке», который не меняется тысячелетиями.

Феномен языковых изменений непосредственно связан с *многообразием* естественных человеческих языков. Если принять концепцию моногенеза, то есть происхождения языков мира от одного протоязыка (выше было уже упомянуто, что она сегодня в языковедении является ведущей гипотезой), то возникновение разных языков следует понимать как прямой результат изменений, происходивших исконно в этом прото-

языке. Мифопоэтическая картина этого процесса дана, в частности, в ветхозаветном описании Вавилонского столпотворения. Хотя общение людей в совместной деятельности требует взаимопонимания, а потому предполагает неизменность инструмента общения — языка, происходит обратное: язык дробится на части — в ущерб общению, которое становится из-за этого невозможным. Язык же не только не умирает, но продолжает существовать уже во множественном виде.

Зачастую трудно определить, где заканчивается очередной этап в развитии одного языка, а где возникает *новый* язык. Лингвисты говорят о реконструкции праязыков, которые впоследствии дробятся на диалекты, а те, в свою очередь, всё более отдаляясь друг от друга, образуют новые языки, родство между которыми, начиная с определённого исторического этапа, можно установить лишь с помощью методов научной реконструкции. Простые носители, скажем, русского языка ощущают его близкое родство с украинским и белорусским языками и более отдалённое — с болгарским или польским. Однако, например, родство русского и немецкого языков требует научного обоснования, и тем более, скажем, родство русского языка с языком хинди. Для русского человека хинди кажется столь же далёким от его родного языка, как любой язык, не принадлежащий (в отличие от хинди) к индоевропейской семье — турецкий, финский, арабский или японский. Для неспециалиста в области сравнительно-исторического языкознания родство русского, армянского и иранского языков и отсутствие такого родства у русского языка с венгерским и финским является, учитывая относительную территориальную близость последних, новостью, в которую не так легко поверить.

Всё описанное происходит прежде всего потому, что количественные языковые изменения переходят в качественные, и история одного и того же языка в определённый момент, который очень трудно точно датировать, превращается в историю разных языков (как, например, латынь становится постепенно источником разных языков так называемой романской группы — французского, итальянского, испанского, португальско-

го, румынского и др.), каждый из которых, в свою очередь, проходит аналогичный путь развития, дробления и обособления территориальных вариантов.

Помимо процессов дифференциации история языков включает обратные, интеграционные процессы благодаря языковым контактам в областях длительного совместного проживания говорящих на разных языках, а также благодаря влиянию письменных языков через распространяемые вне их основной языковой территории тексты. О влиянии языковых контактов на развитие языков речь пойдёт в особом разделе этой книги.

Проблема *изменений* в логике рассматривается в первую очередь в сопоставлении с вопросом об идентичности (ср. Gallois 1998, Priest 2010). В статье под леммой «идентичность во времени» (Identity Over Time) Стэнфордской энциклопедии философии Андре Галлуа (Gallois 2016) пишет, в частности:

If a changing thing really changes, there can't literally be one and the same thing before and after the change.

However, if there isn't literally one and the same thing before and after the change, then no thing has really undergone any change¹.

Вопрос об идентичности и её границах в контексте изменений во времени занимал ещё античных философов. Традиционный взгляд на этот вопрос во многом сохраняется со времени Аристотеля, который различал частные и сущностные изменения. Частные изменения позволяют предмету сохранить свою идентичность, меняя лишь какие-то внешние или, по крайней мере, не сущностные его признаки, как, например, перекрашенный в другой цвет забор, перестроенный дом или поседевшие волосы. Напротив, изменения сущностные меняют идентичность предмета, как в случае с пожаром, превращающим забор или дом в пепел, или со смертью человека (там же).

1 «Если изменяющаяся вещь действительно изменяется, она не может быть той же самой вещью до и после изменения. Но если это уже не та же самая вещь в буквальном смысле слова до и после изменения, значит, ни одна вещь в действительности не подвержена изменению» (перевод мой. — М. К.).

Роль *времени* в изменениях центральна, но неоднозначна. В случае с более или менее простыми предметами и явлениями это достаточно легко продемонстрировать на примерах. Скажем, очки состоят из двух частей — линз и оправы. Если мы поменяем то и другое одновременно, идентичность предмета будет утрачена, и я уже не смогу сказать, что у меня те же самые очки, что и раньше. Но если я сначала поменяю оправу, а потом линзы или наоборот, то идентичность очков вполне можно считать сохранённой, несмотря на видимую парадоксальность высказывания: «У меня те же самые очки, только я сначала поменял оправу, а потом линзы». Но поскольку обе составные части очков принадлежат к их определяемой непосредственным восприятием форме, можно сказать, что у меня теперь другие очки. Это пример пограничного случая, когда идентичность объекта амбивалентна. Если часть сущностных черт объекта воспринимается нами непосредственно, а их другая часть так или иначе скрыта от непосредственного восприятия, именно первые, а не вторые, как правило, «отвечают» за его идентичность. Так, замена мотора и других важнейших деталей в автомобиле при сохранении кузова не позволяет говорить о замене автомобиля, тогда как трудно вообразить себе *тот же самый* автомобиль с новым кузовом, даже если чуть ли не все остальные его части — старые. В случае с живыми организмами идентичность чрезвычайно стабильна, несмотря на происходящие с ними изменения во времени (взросление, старение). Идентифицируя других людей, мы руководствуемся формальными признаками, внешностью, голосом, привычками, особенностями их поведения. Совершенно иначе мы идентифицируем самих себя. Здесь критерием является долговременная память, позволяющая не только знать, что, где и когда с нами происходило, но и помнить собственные мысли и чувства, которые мы при этом испытывали. Мы можем кого-то не узнать, если долго его не видели, но не узнать самого себя мы не можем, если сохраняем память. Конечно, можно себе представить человека, внешность которого в силу тех или иных обстоятельств изменилась до неузнаваемости, но если этим человеком явля-

емся мы сами, то, не узнав себя в зеркале, мы всё же, находясь в здравом уме, ни минуты не станем сомневаться в собственной идентичности.

Что можно сказать о сохранении идентичности столь сложной системы, как язык, с точки зрения непрерывно происходящих в нём изменений? Понятно, что языки обнаруживают оба типа «аристотелевских» изменений, то есть они могут меняться как акцидентально, сохраняя свою идентичность, так и радикально, утрачивая её. Хотя иногда можно слышать от пожилых людей, что молодёжь сегодня говорит на совсем другом, непонятном им языке, это утверждение не означает, что речь действительно идёт о разных языках в их сущностном плане, поскольку в этом случае непонятными были бы не отдельные слова и конструкции, а целые тексты или их большие фрагменты. Вместе с тем известно, что за несколько столетий язык действительно меняется настолько, что перестаёт быть «тем же самым» языком, теряет свою идентичность. При этом лингвисты, реконструируя языки древнейших этапов развития, не имеющие письменных памятников, вынуждены пренебрегать даже весьма существенными изменениями, которые, бесспорно, имели место в их истории, но абсолютная хронология которых навсегда утрачена. Поэтому историк языка вынужден использовать здесь совершенно иную оптику, учитывая лишь те изменения, которые затрагивают самые основные параметры реконструируемых систем. Скажем, индоевропеисты долгое время были вполне удовлетворены тем, что система, которую они называют *индоевропейским праязыком*, возникла около семи тысяч лет назад, в эпоху неолита, и длилась до бронзового века, когда индоевропейская общность стала распадаться на группы. Впоследствии реконструируемая ими эпоха была разделена на более краткие временные отрезки, однако и после этого каждый из них, как считается, охватывал несколько тысячелетий. Мог ли язык сохранять свою идентичность столь длительное время? Очевидно, что не мог. Это известно хотя бы из того, что письменно зафиксированные языки изменяются вплоть до потери идентичности не реже, чем каждые 300—400 лет. Нет ника-

ких оснований полагать, что языки, существовавшие в устной форме, подверженной, по-видимому, гораздо более быстрым изменениям в силу отсутствия письменной фиксации, цементирующей традицию, сохраняли свою идентичность в течение тысячелетий. Однако для реконструкции древнейших этапов развития языков вполне достаточно использовать критерий сохранения тех черт системы, которые отвечают за стабильность языка не в том смысле, что говорящие на нём должны были понимать друг друга, а только в том смысле, что неизменными оставались лишь самые фундаментальные основы языковой структуры. Для исследователя истории дописьменных языков этого оказывается вполне достаточно, так что сами критерии идентичности языка могут расширяться или сужаться в зависимости от того, что мы понимаем под языком в его историческом измерении.

Вернёмся к вопросу о том, почему вообще меняется язык. Как и во многих подобных случаях, этот вопрос крайне неоднозначен. Прежде всего нужно выяснить, что мы понимаем под языковым изменением. На это впервые обратил внимание Косериу (Coseriu 1958), который потребовал провести линию кардинального разграничения между общей и частной постановкой данного вопроса, о чём в общих чертах уже говорилось выше. Спрашивать о том, почему вообще изменяются языки, Косериу считал абсолютно неправомерным: изменяемость свойственна всем без исключения феноменам, существующим во времени. Носители языков живут, изменяются и умирают, и с ними изменяются, живут и умирают языки, на которых они говорят. Какой-то общей причины, некоего «сверхфактора», без воздействия которого язык бы застыл и сохранялся в неизменном виде хотя бы сколько-нибудь длительное время, не существует по определению. С другой стороны, относительная стабильность языка, которая обеспечивает успешную коммуникацию между несколькими, в том числе одновременно живущими, поколениями его носителей, и, сверх того, выходит для письменно зафиксированных языков за пределы живущих поколений, вызывает иллюзию того, что изменения, проис-

ходящие в языке, являются неким отклонением от «нормы», а потому нуждаются в объяснении. Действительно, разве не более натуральным было бы сохранение языка в неизменном виде, по крайней мере что касается его базовых элементов и структур, таких, как, например, звуковой состав, грамматический строй, порядок слов в предложении и т.п.? На таком языке несравненно легче было бы общаться и достигать взаимопонимания. Появление новых слов нам ещё понятно — ведь развивается окружающий нас мир и пополняются наши знания о нём, человечество узнаёт про существование новых, доселе неизвестных, веществ и явлений природы, объектов Вселенной, создаёт новые артефакты и т.д. Всё это требует своего обозначения, а следовательно, пополняется словарный состав языка. Какие-то предметы, явления, идеи устаревают, выходят из повседневного обихода и становятся достоянием истории, и слова, их обозначавшие, также устаревают и исчезают из языка или сохраняются лишь на периферии лексикона. Поэтому такого рода изменения нам понятны. Мы можем их отчасти наблюдать, а потому они не требуют объяснений. Но вот почему должны, например, меняться правила грамматики, почему в некоторых языках возникает артикль, почему сокращается количество падежей существительного или увеличивается число временных форм глагола? Почему исчезают одни и появляются другие звуки — гласные и согласные? Почему изменяется базовый порядок слов в предложении, скажем, последовательность *подлежащее — дополнение — глагол* замещается последовательностью *подлежащее — глагол — дополнение* или прилагательное-определение перемещается из препозиции в постпозицию к имени существительному? Каким изменениям в обществе соответствуют эти процессы?

Конечно, тот факт, что мы понимаем, почему изменения неизбежны в лексике, и не понимаем, почему они неизбежны в грамматике или фонетике, обусловлен прежде всего именно временными рамками, в которые эти изменения укладываются. То, что меняется медленно и охватывает несколько поколений говорящих, не воспринимается нами как изменение, и нам на-

много удобнее считать, что оптимальное функционирование языка обеспечивается именно фактором стабильности, неизменности. Поэтому сами по себе кардинальные изменения в структуре, каркасе языка кажутся нам неестественными, противоречащими самой природе языка, предназначение которого — обеспечивать преемственность в общении. Ремонтируя свой автомобиль, мы время от времени заменяем те или иные его части, но нам не приходит в голову назвать его новым или другим, даже если мы заменим его мотор и вообще всё, кроме кузова. Да и заменив кузов, если такое когда-то потребуется, а средств на покупку новой машины у нас не будет, мы всё равно будем считать, что ездим на *той же самом* автомобиле. Единственным условием здесь является постепенная замена частей, растянутая во времени. Понятно, что двигатель, как правило, служит дольше, чем воздушный фильтр или свечи зажигания, и меняя последние, мы не задумываемся о том, почему они не служат дольше отмеренного им производителем срока. Но если двигатель или коробка передач начинают барахлить через три года после покупки машины, мы исходим из того, что нам был продан некачественный экземпляр. Это, конечно, очень упрощённая метафора языка, но по сути она даёт ответ на вопрос о длительности изменений в разных его сферах.

Правда, язык имеет ещё одно чрезвычайно важное свойство. В нём происходят два типа изменений, несводимых вопреки усилиям большого числа учёных к единому механизму. Первый тип — это изменения, которые вносятся произвольными актами носителей языка и как таковые могут фиксироваться, регистрироваться вплоть до конкретной датировки. Известно, что, скажем, Достоевский «придумал» и ввёл в обиход слово *спутник* в новом значении — «тело, вращающееся вокруг планеты»:

— Что станется в пространстве с топором? Quelle idee! Если куда попадёт подальше, то примется, я думаю, летать вокруг Земли, сам не зная зачем, в виде *спутника*. Астрономы вычислят восхождение и захождение топора, Гатцук внесёт в календарь, вот и всё («Братья Карамазовы», часть 4).

Датировка появления нового значения слова *спутник* не может, правда, совпадать с его первым употреблением в данном значении автором, поскольку на тот момент было ещё неясно, войдёт ли это новое значение в словарь. Для этого всегда необходим новый, плохо датируемый акт — *принятие, признание* совершившегося изменения языковым сообществом в целом, то есть переход лексемы в определённом значении из сферы идиолекта носителя языка (в данном случае Достоевского) в сферу полилекта множества его носителей, когда новое слово или старое слово в новом значении становится частью лексикона целого народа, говорящего на том или ином языке (в данном случае русского народа). Множество спонтанных и осознанных индивидуальных актов введения новой лексики и переосмысления уже известных слов и выражений остаётся за бортом языка, поскольку не получает апробации большинства говорящих. Лишь некоторые из них имеют счастливую судьбу и становятся частью общего словаря. Принятие новой лексемы или нового значения уже имеющимися лексемами происходит по большей части спонтанно и длится некоторое время, поэтому определить завершение акта изменения, как правило, не представляется возможным.

Наряду с приведённым примером спонтанного изменения значения известно множество попыток расширить словарный состав языка или заместить старые слова новыми. Скажем, в рамках так называемых пуристических движений в разных странах неоднократно предпринимались усилия по созданию калек иностранных заимствований, которые имели бы «национальную» языковую форму и звучали бы как слова родного языка. В России известным пуристом был адмирал Шишков, предлагавший, в частности, заменить французское по своему происхождению слово *галoши* или *калоши* на русское *мокро-ступы*. Предложение Шишкова, как известно, не имело успеха, хотя по структуре сложнопроизводное существительное *мокро-ступы* с вполне прозрачной мотивацией теоретически вполне соответствует акустическому и понятийному образу типично русского слова. Вообще предсказать, что из индивидуально

предлагаемого нового лексического материала станет интегральной составляющей лексикона языка, а что будет отвергнуто его носителями, практически невозможно. Правда, предсказать негативную селекцию (то есть отвержение) в целом легче, чем позитивную (приятие), поскольку неудачные предложения часто, хотя и не всегда, отклоняются от системных закономерностей и звучат слишком искусственно, а подчас комично. Например, предложения немецких пуристов эпохи барокко (фон Цезена, Шоттеля, Мошероша, Харсдёрфера) по «онемечиванию» французских, латинских и прочих заимствований по разным причинам не находили поддержки. Так, идея замены слова *Nase* ‘нос’ на *Gesichtserker*, буквально ‘эркер на лице’ (по образу выступающей части крыши дома) была обречена изначально, и не только из-за до смешного натянутого метафорического образа, но и по той простой причине, которую автор-пурист не удосужился заметить, что названия частей тела в немецком языке (как и практически во всех языках мира)² редко выходят за рамки одно-, двусложных лексем, и громоздкое, четырёхслоговое существительное никогда не войдёт в лексический состав немецкого языка. Характерно в этой связи, что немецкий пурист фон Цезен, желая заместить слово *Schornstein* ‘дымовая труба’ более «немецким», по его мнению, сложным существительным, ничтоже сумняся использует в качестве его второго компонента основу ‘Nase’: *Dachnase* (буквально ‘нос крыши’) (ср. Preuß 1814: 250). При этом, что особенно парадоксально, используется аналогичный слову *Gesichtserker* мотив метафоры — выступающая часть на лице именуется «строительным» термином (*эркер*), а выступающая часть крыши — «соматическим» (*нос*).

- 2 Ср. в языках индоевропейской семьи: нидерл. *neus*, англ. *nose* швед. *näsa*, дат. *næse*, исл. *nef* (древнеисл. *noes*, *nas*), лат. *nasus*, фр. *nez*, ит. *naso*, исп., порт. *nariz*, румынск. *nas*, рус., укр., белорус., болг., сербохорв. *нос*, польск., чеш., словацк. *nos*, лит. *nosis*, латыш. *deguns*, санскр. नासा (*nāsā*), инд. नाक (*naak*), иран. بینی (*bini*), гр. μύτη (*mitii*), алб. *hundë*, арм. քիթ (*khith*), ирл. *srón*; в языках других семей: фин. *nenä*, эст. *nina*, венг. *orr*, баск. *sudur*, груз. ცხვირი (*tskhviri*), турецк. *burun*, японск. 鼻 (*hana*), кит. 鼻子 (*bízi*), араб. أنف (*anf*), иврит. נף (*naf*), малайск. *hidung*, суахили *pua*.

По поводу усердия немецких пуристов эпохи барокко в поисках замены всех иноязычных заимствований немецкими словами Ханс Якоб Гриммельсгаузен в своём знаменитом «Симплициссимусе» пишет (Grimmelshausen 1684: 888–889):

Ihr Herrn Landsleute, die ihr euch vor teutsche Sprachpolierer ausgebt, und alles miteinander pur teutsch haben wollet, ich muß euch noch etwas verweisen, das beynahe einer unnützen Thorheit gleich sihet, und ist dieses, daß ihr alle Sachen, die von den Fremden zu uns gelangen, mit neuen teutschen zuvor unerhoerten Namen nennen wollet. Wann ihr ein Fenster darumb daß es lateinisch klingt nicht mehr Fenster: sondern einen Tagleuchter benahmet, warumb nennet ihr dann nicht auch die Pforten und Thueren anders, deren Namen ebenmässig von den Lateinern und Griechen herkommen?³

Высмеиваемое в этом фрагменте сложное слово *Tagleuchter* (буквально ‘дневной светильник’), которое, по мысли пуристов, должно было не только звучать по-немецки, но и, как и в подавляющем большинстве подобных замен, раскрывать посредством своей словообразовательной семантики семантику лексическую (то есть собственное значение слова), не прижилось в немецком языке совсем не по причине саркастической реплики Гриммельсгаузена. Со временем «инородность» звучания немецкого слова практически исчезла, поскольку с чисто фонетической точки зрения как артикуляция, так и ак-

3 «О, господа соотечественники, выдающие себя за шлифовальщиков языка и желающие общаться исключительно по-немецки, я должен указать вам на нечто такое, что выглядит как бессмыслица и глупость, а именно, что вы все вещи, приходящие к нам от иностранцев, желаете называть новыми немецкими, доселе несслыханными, именами. Если вы не хотите называть окно окном, потому что это слово [нем. *Fenster* из фр. *fenêtre*, ср. лат. *fenestra* — *М. К.*] звучит как латинское, а желаете заменить его на “дневной светильник” [*Tagleuchter*] — почему бы вам в этом случае не переименовать ворота и двери, также пришедшие к нам от римлян и греков?» (Перевод мой. — *М. К.*) Автор здесь допускает неточность, которая, впрочем, не была замечена и самими пуристами, действительно предложившими заменить немецкое слово *Tür* ‘дверь’ на *Hausloch* (буквально ‘дыра/отверстие в доме’), хотя *Tür* не является заимствованием, а принадлежит к исконной индоевропейской лексике, вошедшей в конкретные и.-е. языки непосредственно из праязыка.

центуация данного существительного не обнаруживает никаких разительных отличий от немецких лексем. Если уж в немецком языке впоследствии сохранились такие французские заимствования, как, например, *Gage* ‘гонорар’, *Garage* ‘гараж’ или английские *Jam* ‘джем’ и *Jogging* ‘бег трусцой’, в которых присутствуют звуки, чуждые немецкой системе согласных (произносимые приблизительно как *ж* и, соответственно, *дж*), то «онемечиванию» слова *Fenster*, содержащему звуки и звукосочетания, типичные для немецкого языка, вообще ничто не препятствовало. Поэтому идея замены простого и для немецкого уха вполне приемлемого *Fenster* на более громоздкое *Tagleuchter* оказалась недостаточно мотивированной и была механически отвергнута языковой системой.

Проект замены слова *Urne* ‘урна (с прахом)’ на *Leichentopf*, буквально ‘горшок для тела’, был обречён по другой причине — в данной сфере эвфемистическое, несобственное название всегда будет предпочтительнее грубого и прямолинейного названия предмета, так сказать, «в лоб». А вот такие предложенные пуристами в разные периоды слова, как *Bürgersteig*, буквально ‘помост для граждан’, вместо заимствованного из французского *Trottoir* ‘тротуар’; *Fahrkarte*, буквально ‘проездная карта’ вместо французского заимствования *Billet* ‘(проездной) билет’, и многие другие вытеснили заимствования и утвердились в немецком языке. Французское по своему происхождению слово *комильфо*, английское *джентльмен*, немецкое *рыцарь* сохранились в русском языке даже вопреки их малопригодной с точки зрения русской фонетической системы акустической форме (адаптировано к русской фонетике и отчасти к, пусть фиктивному, словообразованию здесь лишь последнее слово, которое прочитывается в ряду слов типа *пахарь*, *лекарь*). Тем не менее в отношении, скажем, *комильфо* Пушкин в «Евгении Онегине», вполне резонно просит у пуриста Шишкова «прощения» за невозможность его перевода на русский: «Шишков, прости, не знаю, как перевести». Чацкий в «Горе от ума» Грибоедова, со своей стороны, не менее резонно возмущается тем, что перевод слов *мадам* и *мадемуазель* как су-

дарыня вызывает смех в дворянском обществе. Таким образом, перспектива замещения иностранных по происхождению слов словами родного языка всегда остаётся неясной и может быть оценена лишь *post factum*. Помимо этого, известны случаи прямо парадоксальные, когда горячие сторонники замещения заимствований «родной» лексикой совершали столь явные ошибки, что они вошли в историю как стремление к результату, прямо противоположному заявленной цели. Так, известный немецкий педагог и пурист Ф. Л. Ян (Jahn) создал целую теорию относительно якобы чисто немецкого звучания глагола *turnen* ‘заниматься гимнастикой’, в котором придыхаемый глухой звук *t* сопровождается «тёмным» гласным *u*, за которым следует раскатистое *r* в сочетании с носовым *n*, что чисто немецким способом передаёт, с одной стороны, движение тела, а с другой, отвечает особенностям построения звукового образа именно немецкого языка. Ян сочинил десятки слов с основой *turn-* и, не ограничившись этим, создал немецкое физкультурное движение (*deutsche Turnbewegung*), а в 1811 году организовал первую немецкую спортплощадку (*Turnplatz*) в берлинском парке Хазенхейде (*Hasenheide*). Ян полагал, что из немецкого обихода необходимо убрать английское слово *Sport* и его производные, поскольку для немецкого уха эти слова звучат абсолютно неприемлемо, и заменить эти англицизмы «чисто немецкими» словами с основой *turn-*. В действительности данная основа является латинским заимствованием, ср. лат. *turnus* ‘оборот, поворот’ и первоначально означало ‘поворот тела’ (ср. также англ. *to turn* ‘поворачивать(ся)’).

Все приведённые выше примеры относятся к первому типу изменений, поскольку мы можем установить их источник и проследить историю. Изменения же второго типа не поддаются такому анализу, поскольку они происходят совершенно иначе. От некоего состояния А до нового состояния Б проходит так много времени, что автора изменения невозможно установить, да и вообще у подобного рода изменений какого-то одного автора быть, скорее всего, не может. Более того, непонятно, как происходит трансформация, длящаяся, скажем, несколько

столетий, носителями которой являются несколько поколений говорящих на том или ином языке. Понятно, что такие изменения спонтанны: невозможно же предположить некоего «согласия» на изменение, проходящего сквозь поколения носителей языка. Как совершенно справедливо считает Р. Ласс (ср. Lass 1997: 337), для историка языка наиболее интересны именно органические, спонтанные изменения, охватывающие несколько поколений носителей языка, то есть такие изменения, которые являются следствием длительной эволюции и никак не могут быть эмпирически обнаружены и зафиксированы в момент их возникновения. Иными словами, предмет главного интереса лингвиста являются изменения, которые максимально оторваны от носителей языка и заставляют исследователя рассматривать язык как бы в самом себе, в отрыве от внешних факторов его развития. В отличие от Ласса Косериу (ср. Cosegiu 1974: 127–128; 151) отрицает постепенность и поэтапность языковых изменений, полагая, что любое изменение всегда одномоментно и дискретно, а непрерывность процессов языковой эволюции является лишь научной фикцией. Непрерывность и постепенность характерны, согласно Косериу, исключительно для распространения уже совершившегося изменения в языковом сообществе, когда новая языковая форма или новая функция этой формы принимается всё большим числом говорящих на данном языке. Пока не станем подробно рассматривать суть этого заочного⁴ спора и предлагать решение поставленной обоими учёными проблемы. Отметим лишь, что для нас важно не столько постулирование единого механизма языковых изменений или их разнородных причин, сколько сам факт, что результаты одних изменений могут фиксироваться на синхронном срезе языка, тогда как результаты других вообще не воспринимаются как итог изменений и в синхронии могут

4 Заочного, поскольку Косериу спорит в своей книге, вышедшей в свет задолго до трудов Ласса и его школы, с классической концепцией постепенного развития языка, представленной в трудах немецких младограмматиков, и, прежде всего, Г. Пауля (ср. Paul 1968), а Ласс, в свою очередь, в своей монографии работ Косериу не упоминает.

рассматриваться как состояние, которое «было всегда», хотя в исторической ретроспективе такое утверждение, конечно, несправедливо. Поскольку мы пользуемся языком на его синхронном срезе, естественным представлением о сути языковой системы является интуитивная гипотеза о её неизменности как «нормальном» состоянии, во всяком случае относительно менее подвижных, чем лексический состав, грамматических структур или набора гласных и согласных звуков. Именно поэтому изменения в данных сферах интуитивно воспринимаются нами как некое «отклонение» от нормы, коей является стабильность, в связи с чем и возникает вопрос об обосновании изменчивости абсолютно всех структур языка. С языком должно происходить что-то необычное, вызванное какими-то внешними факторами, в результате чего меняются не только его слова и их значения, но и жёсткие, стабильные фонетические и грамматические сферы. Языковые изменения кажутся говорящим на данном языке феноменами, которые требуют объяснения хотя бы уже потому, что они являются факторами, осложняющими общение и, в общем, чем-то, чего носителям языка следовало бы избегать. Если бы не было письменных памятников, документирующих иное состояние языка на более древних этапах его развития, ни у кого не возникло бы идеи, что в стародавние времена наши предки говорили совсем не так, как мы, так что мы не могли бы друг друга понять. Но выше уже говорилось, что это представление о принципиальной неизменности языка даже без всяких эмпирических данных разбивается о фактор времени, выраженный в сформулированной ещё древними греками лаконичной формуле «всё течёт». Итак, лучше всего мыслить язык как нечто неподвижное или, по крайней мере, малоподвижное, но так мыслить его невозможно в силу очевидных причин. Было бы, возможно, гораздо проще и понятнее, если бы язык оставался практически неизменным или менялся бы лишь по нашему желанию, в связи с теми или иными обстоятельствами, обуславливающими необходимость конкретной перемены. Но в действительности язык, правда, с разной скоростью, меняется постоянно, и ни одна из его подсистем не остаётся неизменной.

Приведём простой пример, иллюстрирующий изменчивость грамматических форм и её последствия. Современный носитель русского языка совершенно не удивляется тому, что прошедшее время русского глагола имеет категорию грамматического рода, согласующую глагол и имя или местоимение во фразе, тогда как в настоящем времени согласование имени (местоимения) и глагола есть лишь в числе, а род у глагола отсутствует, ср. *Хозяин / хозяйка / дитя / он / она / оно сидит у телевизора: Хозяин / хозяйка / дитя / он / она / оно сидел / сидела / сидело у телевизора*. Привычка позволяет бессознательно «оценивать» такую асимметрию как вполне нормальное явление, хотя с точки зрения логики избыточность грамматического рода для спрягаемой формы глагола бросается в глаза. Действительно, зачем именно в прошедшем времени глагол должен показывать грамматический род? Объяснение возможно лишь в исторической ретроспективе. Дело в том, что по своему происхождению форма прошедшего времени является страдательным причастием с суффиксом *-л-*. Для причастия, как неспрягаемой формы глагола, обнаруживающей одновременно процессуальную (свойственную глаголу) и признаковую (свойственную имени прилагательному) семантику (ср. Стрельцова 1978: 214–216, Данков 1981: 17–19), маркирование грамматического рода вполне органично. С утратой функции причастия и переходом бывших причастий в разряд спрягаемых форм глагола функция маркирования грамматического рода утрачивается, но форма сохраняется. Как уже упоминалось выше, подобное развитие авторами и сторонниками неodarвинистской теории языковых изменений именуется, вслед за представителями эволюционной биологии, экзаптацией (ср. Gould/Vrba 1982: 4–15, De Cuypere 2005: 13–26, Lass 1997: 316–324). Вместо изменения исконной функции в результате приспособления к изменившимся условиям окружающей среды, происходит полная потеря функции при сохранении формы, которая существует в языке как некий «мусор» — *junks* (ср. Lass 1997: 316–318), который, однако, подобно нефункциональным органам живых существ (вроде аппендикса или сосков на гру-

ди у мужчин), без всякой необходимости сохраняется в системе, осложняя её. Но даже такое явно избыточное, лишённое всякой функциональной нагрузки явление воспринимается на подсознательном или бессознательном уровне как вполне обычное, «нормальное», и средний носитель языка скорее всего будет удивлён или даже раздражён, узнав от лингвиста, что форма прошедшего времени русского глагола совершенно необоснованно с точки зрения логики грамматических категорий имеет показатель грамматического рода.

Более распространённым явлением в эволюции относительно стабильных языковых форм, чем экзаптация, является адаптация, то есть изменение (а не утрата) функции в связи с приспособлением к изменившимся условиям языковой среды (речь идёт здесь исключительно о внутриязыковом, а не о внешнем «окружении»). Типичным примером для русского языка можно считать превращение ряда глагольных приставок из лексических модификаторов, то есть элементов, несколько меняющих, модифицирующих значение глагольной основы, в показатели совершенного вида, ср. *делать* — *сделать*, *мочь* — *смочь*, *рвать* — *сорвать*, *играть* — *сыграть*, *слышать* — *услышать*, *идти* — *пойти*, *писать* — *написать*, *читать* — *прочитать* и т. п. Приставки, в свою очередь, восходящие к предлогам и частицам, первоначально меняли значение глагола, как, например, в паре *брать* — *собрать*, где *со-* означает ‘принести предметы в одно место, соединить их в одном пространстве’, или в паре *переживать* — *сопереживать*, где в производном глаголе выражено совместное, общее с кем-либо состояние. Данная функция свойственна предлогу *с*, *со*, выражающему совместность, кооперативность, собирательность, ср. *он идёт вместе со мной*; *я был на концерте с женой*. Впоследствии названная функция переосмысливается как видовая, но для этого необходимо, конечно, изменение статуса приставки, которая из показателя лексической модификации становится грамматическим маркером совершенного вида. Подобным образом происходит и грамматикализация приставок (бывших предлогов) *у-* (первоначально ‘около’, ср. *у берега*), *по-* (первонач-

чально ‘по поверхности’, ср. *идти по полю*), *на-* (первоначально ‘на поверхности’, ср. *на столе*), *про-* (первоначально ‘относительно’, ‘сквозь’, ср. *про него, пройти*). Совместность, собирательность осмысляется как завершение действия, окончание процесса и т. п., то есть достижение результата, когда все «части» действия или процесса «собраны воедино», что для глагола можно считать успешным, ожидаемым окончанием действия (ср. Кацнельсон 1960, Смирницкая 1966). Аналогично переосмысляются и другие приставки, становящиеся показателями совершенного вида — со значением местонахождения, сквозного движения, пребывания на поверхности и т. п. Приставка меняет функцию с лексической на грамматическую и присоединяется к глаголу уже не для того, чтобы изменить его первоначальную семантику, а чтобы, вполне сохранив её, поставить глагол в иную грамматическую форму. Подобное развитие Ласс (ср. Lass 1997) сравнивает с изменением функции оперения птиц, первоначально служившего сохранению температуры тела, но впоследствии ставшего основой для крыльев, позволявших птицам перемещаться по воздуху для добывания пищи и смены местопребывания в зимний период. Механизмы адаптации и экзаптации лежат в основе второго типа языковых изменений — изменений долговременного характера, не имеющих даже теоретически устанавливаемого «автора», изменений, заставляющих рассматривать язык как автономную, саморазвивающуюся динамическую систему.

Как возникают и изменяются языковые знаки?

Jeder Vergleich hinkt («Всякое сравнение хромает»), гласит немецкая пословица. Она вполне применима к описанным выше примерам. Понятно, что адаптация и экзаптация языковых форм не происходят по той же схеме, что у живых организмов. Сравнения такого типа имеют смысл только в том случае, если признаётся их известная условность, они нужны большей частью для иллюстрации явления посредством его описания в сопоставлении с феноменами иного рода. Так достигается бóльшая наглядность, чем особенно охотно пользуются именно лингвисты. Вспомним, что, например, в «Курсе общей лингвистики» Ф. де Соссюра есть отдельная глава, где дихотомии языка показываются в сравнении с разными явлениями. Хрестоматийным стало, в частности, сравнение языка с шахматной игрой. Аналогия строится на том, что, подобно языку, шахматы представляют собой систему знаков, функционирующих в игре согласно принятой системе правил, соединяющих «знаки» (шахматные фигуры) в процессе их перестановки. При этом для стороннего наблюдателя, пришедшего в середине игры и оценивающего позицию на шахматной доске, согласно Соссюру, не является важным, как именно данная позиция возникла. Важно лишь, что она собой представляет в настоящий момент. Данное сравнение должно показать, что знаковые системы можно анализировать без учёта фак-

тора времени, хотя они и меняются во времени. Шахматная игра — это динамический процесс, с каждым ходом игроков позиция на доске меняется, однако в каждый отдельный момент времени она может оцениваться независимо от «истории игры». Показывая условность этого вывода, А. А. Холодович (1977: 9–29) пишет во введении к русскому изданию «Курса...», что «диахронические» вопросы всегда остаются даже в оценке шахматной игры, не говоря о языке. Главный «диахронический» вопрос, который задаст пришедший в разгаре игры наблюдатель, — это вопрос «Чей сейчас ход?». Есть и другие существенные вопросы, не позволяющие полностью пренебречь фактором времени, например, сделал ли тот или иной игрок рокировку, когда (только что или раньше) была продвинута на два поля пешка, прошедшая так называемое битое поле, и т. п. Подобные примеры можно — но всегда лишь *mutatis mutandis* — привести в отношении языка. Скажем, словообразовательная семантика далеко не всегда изоморфна форме сложного или производного слова, так что её отношение к семантике лексической, как правило, без исторического подхода выявляется лишь частично. Например, мотивация слов *свинина*, *баранина*, *телятина*, построенных по общей для них словообразовательной схеме отыменной суффиксации, прозрачна, тогда как существительное *говядина*, при его совершенно очевидной принадлежности к той же словообразовательной модели, в силу утраты лексического значения основы, является семантически немотивированным. При этом едва ли кто-то поставит под сомнение, что *говядина* — производное от когда-то имевшего значение ‘крупный рогатый скот’ слова с основой **говяд-*. Конечно, чтобы выяснить этимологию более полно, придётся обратиться к этимологическому словарю, из которого можно почерпнуть много интереснейшей информации. Но заведомое исключение данного слова из общего словообразовательного ряда лишь на том основании, что его структура семантически непрозрачна, а потому не поддаётся строго синхроническому анализу, было бы едва ли правомерным, хотя именно такой подход рекомендовали в своё время

едва ли не большинство российских лингвистов. Не станем подробно рассматривать и оценивать здесь известный спор, который вели по данному вопросу в середине прошлого века Г. О. Винокур, А. И. Смирницкий и целый ряд иных языковедов¹. Ограничимся совершенно, на наш взгляд, справедливым замечанием О. Н. Трубачёва (1976), что есть области языкознания (в частности, словообразование), которые ускользают от строго синхронического анализа и требуют самим фактом своего существования исторического рассмотрения.

Приведённый выше пример показывает, что одним из механизмов изменений в области номинации (процедуры создания языкового знака путём установления связи между его формой и значением) является утрата его первичной мотивации, или идиоматизация. По сути мы имеем здесь дело с одним из исконных парадоксов, присущих человеческому языку, — противоречием между стремлением мотивировать каждое возникающее слово, с одной стороны, и необязательностью мотивированности слова — с другой. Поэтому сосуществование слов типа *кукушка*, *писк*, *хрюкать*, *квакать*, *трещать*, *скрипеть*, *каркать*, в основе которых лежит звукоподражание, и слов типа *липа*, *воздух*, *идти*, *серый*, *даль*, никак в их современном виде не мотивированных, воспринимается нами как вполне естественное положение. Более того, не только обычные носители языка, но даже учёные-лингвисты едва ли не в большинстве своём склонны считать, что и в историческом плане слова могли бы возникать вследствие совершенно немотивированного, произвольного приписывания значения той или иной комбинации звуков, которая принципиально допустима фонетической системой языка. Скажем, слово вроде **вкротс* в русском языке невозможно по просодическим основаниям, но ничто не препятствует приписать, скажем, потенциально допустимой последовательности звуков **плестара* какой-нибудь семантики, абсолютно не связанной с данной последовательностью звуков по смыслу. Идея Ф. де Соссюра о произвольности языкового

1 Подробное описание и анализ вопроса содержатся, в частности, в моей статье, посвящённой этой проблеме (ср. Kotin 1997).

знака, сформулированная первоначально именно для синхронии как отсутствие его обязательной мотивированности, постепенно обрела некий абсолютный смысл: акт наречения стал мыслиться как принципиально немотивированный, и в этом случае, скажем, ономотопические (звукоподражательные) модели языковой номинации стали восприниматься как исключения из некоего «правила произвольности». Так, немецкий лингвист Хайнц Фатер (Vater 2004: 75) пишет: «В любом языке можно образовать неограниченное количество лексических слов, сцепляя принципиально соединимые согласно правилам фонологии звуки в единую последовательность. Так, в немецком языке можно создать новое слово [mɛl] со значением ‘прозрачный файл с отверстиями’ или слово [ɛm] со значением ‘чашка с прикрепленным блюдцем’. Правда, большинство новых слов таким образом не возникает»². Оговорка Фатера, которой он явно не придавал большого значения, является с точки зрения генезиса языковых знаков центральной. В частности, Герман Пауль (Paul 1968), анализируя 117 немецких непроемных неологизмов, показал, что их подавляющее большинство представляет собой звукоподражательные знаки (например, глаголы типа *bimmeln* ‘звенеть’, *blaffen* ‘громко ругаться’, *blubbern* 1. ‘бурлить’ 2. ‘сердито бормотать’, *dudeln* ‘дудеть, дуть в трубу’, *klimpern* 1. ‘издавать металлические звуки’ 2. ‘плохо играть на каком-л. инструменте’). Итак, изредка возникающие новые (непроемные) слова, как правило, мотивированы — чаще всего это акустические метафоры, звукоподражательные образования. Известно при этом, что для языка в его историческом измерении действует так называемый *General Uniformity Principle* («принцип общего униформизма»), состоящий, по определению Р. Ласса, в том, что «Nothing that is now impossible *in principle* was ever the case in the past» (Lass 1997: 26)³.

- 2 «Man könnte in jeder Sprache unendlich viele lexikalische Wörter bilden, indem man neue (nach phonologischen Regeln bildbare) Phonemsequenzen erzeugt. So könnte man im Deutschen ein Wort [mɛl] mit der Bedeutung “Klarsichthülle mit Löchern” bilden oder [ɛm] für “Tasse mit eingebauter Untertasse”. Tatsächlich entstehen die meisten neuen Wörter nicht auf diese Weise» (перевод с немецкого мой. — М. К.).
- 3 «Ничто из того, что невозможно *в принципе* сегодня, не являлось возможным когда-либо в прошлом».

Понятно, что данный принцип вполне можно сформулировать «положительно», то есть то, что мы видим в настоящем, в принципе применимо к более ранним стадиям развития языка. Здесь, конечно, важно выделенное Лассом «в принципе», так как это не всегда касается частностей. В плане языковой номинации названный принцип очень наглядно демонстрирует, что логично, основываясь на простом наблюдении за тем, как возникают новые непроемные лексемы, предположить, что на стадии возникновения языка номинация мало чем отличалась от того, что мы видим сегодня. Конечно, в качестве некоей интеллектуальной игры можно сочинить множество абсолютно немотивированных слов, но, учитывая отсутствие доказанной немотивированности у известных нам языковых знаков, было бы по меньшей мере странно допускать действие в акте номинации правила абсолютной произвольности.

Сказанное отнюдь не означает, что принцип произвольности знака, сформулированный де Соссюром и ставший краеугольным камнем современного представления о сущности языковой номинации, подвергается ревизии. Речь лишь о том, как понимать произвольность. Ответ на этот вопрос может дать наблюдение за онтогенезом и филогенезом языка. Вне языковой динамики, без учёта фактора времени как на микро- так и на макроуровне его решение невозможно в принципе. Под давлением очевидных фактов следует отказаться от теоретически возможной, но исторически недоказуемой абсолютной произвольности знака, если подразумевать под ней его полную немотивированность. Сам Соссюр, как известно, говорил об абсолютной (лишь синхронически понимаемой) и относительной (как синхронически, так и диахронически представленной) произвольности знаков. Впоследствии принцип произвольности был возведён в ранг некоей догмы, что существенно осложнило проблему происхождения знака. В момент своего возникновения *любое* слово так или иначе мотивировано, в противном случае языковое сообщество просто отвергло бы его как не имеющее первичной основы. Другое дело, что диапазон мотивов может быть чрезвычайно широким, хотя и не

бесконечным. В его рамках в акте именования предмета, признака, явления и т. п. действительно может совершаться произвольный выбор, но полное отсутствие мотивации, равно как и принуждение к обязательному использованию только одного мотивационного образца, едва ли возможно.

Вероятно, акустические мотивы стояли у истоков языковой номинации, ведь слова устной речи — это акустические феномены, и естественно предположить, что звукоподражание или акустические символы аффектов первичны при создании слов естественного языка (подробнее ср. Kotin 2005: 63–67). По-видимому, именно тип номинации, названный мной «аффективно-имитативным» (ibid.: 63–67; 128; 222), следует считать первичным. Это совершенно не означает, что все слова современного языка так или иначе возводимы к данному типу мотивации, а лишь постулирует некую наиболее вероятную исходную её точку. Дальнейший вектор развития основан на метафорических и метонимических переосмыслениях разного рода, результатом которых становится утрата первичного номинационного мотива, его замещение другим мотивом, а впоследствии зачастую полная утрата какой бы то ни было мотивации лексемы, её идиоматизация. Процессы эти чрезвычайно сложные и противоречивые, а установление их источника требует очень серьёзного и многопланового анализа как на уровне конкретного носителя языка, так и на уровне языковой эволюции в целом.

Начнём с уже приведённых выше примеров слов, которые в эпоху Г. Пауля, то есть на переломе XIX и XX вв., были неологизмами. Мы видим, что они, с одной стороны, по своему происхождению являются звукоподражательными (акустически мотивированными) знаками, а с другой стороны, постепенно расширяют сферу своего значения на метафорической основе. Так, *blubbern* в значении ‘бурлить’ мотивировано на звукоподражательной основе — звуками языка передаются звуки бурления кипящей или падающей с высоты воды; в значении же ‘сердито бормотать’ данный глагол переносит бурление воды на характер речи недовольно «бурчащего» что-то человека (ср.

русский глагол *бурчать* с аналогичной мотивацией). Глагол *klimpern* ‘издавать металлические звуки’ может также означать скверную игру на музыкальном инструменте (ср. русский глагол *пиликатъ*): когда водят чем-то по металлу, возникает неприятный звук. Ряд последовательных переносов значения может привести к полной утрате не только первичной, но и всех производных мотиваций, и тогда форма слова теряет связь с его семантикой. Скажем, английский глагол *hope* и немецкий *hoffen* ‘надеяться’ первоначально означали ‘прыгать; скакать’, будучи производными от междометия со значением, подобным русскому *гон!* и той же мотивацией — имитацией звука, возникающего при соприкосновении ног с землёй во время прыжка, ср. современное немецкое *hopp!* ‘гоп!’ и производный от него глагол *hoppen* ‘прыгать; скакать’; вариант *hoffen* — результат процесса, известного как верхненемецкое (так называемое второе) передвижение согласных и характерного для диалектов юга и средней части Германии. В основу метафорического переосмысления значения ‘прыгать; скакать’ был положен образ нетерпеливо прыгающего на месте в ожидании доброй новости, письма и т. п. человека. Впоследствии связь между прямым и переносным значениями была утрачена, и глаголы немецкого и английского языка стали восприниматься как немотивированные. Это, однако, не означает, что мотивации при обозначении надежды у них не было с самого начала.

Приведём более сложный пример многоступенчатого процесса переосмысления исконного значения слова. Английское существительное *fox*, немецкое *Fuchs* и их соответствия в других германских языках имеют, подобно русскому *лиса*, прямое и переносные значения. В немецком переносных значений несколько — это (1) лисий мех и изделия из него; (2) гнедая лошадь; (3) рыжеволосый человек; (4) бабочка с рыжеватой окраской; (5) золотая монета (устар.); (6) отводной канал водосточной трубы; (7) хитрый человек. Значение (1) — это типичная метонимия, то есть перенос не по сходству, а по смежности признака: вместо животного тем же словом называется то, что имеет к нему то или иное отношение, в данном слу-

чае либо часть вместо целого, либо материал вместо того, из чего он произведён. Остальные значения — метафоры, причём в большинстве из них в качестве так называемого *tertium comparationis*, буквально ‘третьей величины сравнения’, то есть признака, на котором основано сравнение двух названий между собой, выступает рыжеватая окраска, в одном случае — форма и в одном — свойство поведения. Очевидно, что все эти значения возникли по времени *после* появления слова *Fuchs* в значении ‘лиса’, которое поэтому именуется *прямым*. Но прямым это значение является лишь для носителей языка, не знающих этимологии данного слова. Исследование истории этого существительного показывает, что оно является производным от существительного, этимологически родственного русскому слову *пух*, то есть ‘лиса’ по сути является метонимией, поскольку значение того, что является частью животного, переносится на животное в целом; предмет называется по смежности с его частью (лат. *pars pro toto*, буквально ‘часть вместо целого’). Скорее всего, промежуточным звеном было ещё одно значение — ‘хвост’ (ср. древнеиндийское существительное *pukkha-h* ‘хвост’). Хвост, таким образом, мотивирован тем, что является его частью, а животное в целом метонимически осмысляется по своей части — хвосту. Значение ‘пух’, в свою очередь, также не является первичным. Оно, по-видимому, производно от значения ‘лёгкий; воздушный’, ср. современный немецкий глагол *pusten* ‘дуть’, производный от междоветной основы, имитирующей дуновение (ср. лемму *Fuchs* в этимологических словарях Duden 7/2001, Pfeifer 1993, Kluge 1999 и мою гипотезу о имитативном происхождении слов группы ‘пух’ в Kotin 2005: 182–185). Таким образом, каждое из многочисленных звеньев номинационной цепи, приводящей к появлению слова *Fuchs* и продолжающейся в его дальнейших метафорических и метонимических переосмыслениях, мотивировано наличием связи с предыдущим звеном, которая, однако, со временем ослабляется вплоть до полной утраты, что производит ложное впечатление немотивированности некоего «исконного», «исходного» слова, возникшего как бы совершенно произвольно,

вследствие случайного сочетания звуков, которому придаётся то или иное значение абсолютно независимо от формы слова. Тем временем утверждение об исконной немотивированности слова *Fuchs* настолько же правдоподобно, насколько правдоподобным было бы отрицать связь между, скажем, прямым и переносными значениями данного слова в современном немецком языке.

В действительности мы видим, что мотивация, её изменение или полное исчезновение представляют собой ступени одного процесса, разворачивающегося во времени. Разница между отдельными фазами этого процесса лишь в том, что некоторые из них сохраняют «мотивационную преемственность», а некоторые её утратили. Сами же мотивы осмыслений и переосмыслений чрезвычайно многообразны, от аффективно-имитативных механизмов до образных переносов разного рода. Помимо этого, большую роль играют несобственные значения, смысл которых может быть весьма разнообразным. В частности, известно, что множество слов возникло в древности путём замещения прямого названия предметов и явлений смежными именами во избежание непосредственного «столкновения» слова и стоящего за ним явления, поскольку подобная процедура приводит, согласно древним верованиям, к возникновению самого называемого явления в непосредственной близости говорящего, что могло так или иначе ему угрожать. Реальность имени и его действенность воспринимались нашими предками очень серьёзно. Вот почему практически во всех культурах существовал запрет на прямое именование божественных существ и связанных с ними предметов, признаков и действий. К сфере табу относились, помимо этого, именованья, связанные со смертью, продолжением рода, природными стихиями, а также хищными зверями. В большинстве случаев их именование происходило с использованием механизмов замещения эвфемистического характера. Уже рассматривавшееся выше немецкое слово *Fuchs* в своей первоначальной мотивации ‘хвостатый (зверь)’ скорее всего являлось эвфемизмом. Слово *волк* и его соответствия в других индоевропейских языках так-

же является по своей этимологии эвфемизмом, возникшим, в частности, с использованием метатезы (перестановки звуков, применявшейся с целью обмануть страшного зверя, не позволив ему услышать своё «настоящее» имя и появиться вблизи человека, его произносящего). Так, этимологический словарь Клуге (Kluge 1967: 867) возводит название волка в индоевропейских языках к глаголу, по-русски звучащему как *волочить*, то есть волк обозначался как зверь, который тащит, «волочит» свою жертву. Словарь Пфайфера (Pfeifer 1993/2: 1578) описывает исконное значение индоевропейского слова **ulku-ó-s* как производное от глагольной основы **uel-* со значением ‘рвать, терзать’. В обоих случаях налицо типичные эвфемизмы, то есть «скрытые», описательные имена. Эвфемистический способ выражения понятий, впрочем, свойствен сегодняшнему дню не менее, чем древности. О природе подобного именования остроумно пишет философ В. В. Бибихин (2015: 159–160):

‘Медведь’, специалист по мёду — способ и назвать страшного зверя, и умолчать о нём. ‘Министерство обороны’ — способ и назвать известное учреждение, и отвести глаза от многого из того, чем оно на самом деле занимается. Язык полон именами, в которых мы полуназываем вещи, полупрячем их.

При этом мотивация как основной принцип именования явлений сохраняется и здесь, поскольку сама необходимость «полуназвать» что-то — уже мотив такого, а не иного способа именования. Мотивированность языкового знака в момент его возникновения или в момент его переосмысления — явление универсальное. В этом смысле ни один знак не произволен. Однако, как уже говорилось выше, при наречении имени предмета или явления мы всегда имеем в распоряжении огромный арсенал возможностей и как явных, так и скрытых мотивов, выбор из которых действительно произволен. В этом состоит двойственная природа языковой номинации.

Однако всё осложняется процессом, противоположным мотивированности знака, прозрачности исконных связей меж-

ду звучанием и значением, — демотивацией, помутнением, ослаблением и, наконец, утратой исконного мотива именованя или переименования, вплоть до полной идиоматизации. Слово превращается в результате этого процесса в этикетку понятия, его обёртку, имеющую с внутренним наполнением столько же общего, сколько упаковка продукта имеет с его содержимым. Идиоматизация почти так же универсальна, как мотивация. Много ли сохранилось в языке исконно мотивированных лексем среди слов с непроеводной или «условно производной» основой типа *кукушка*, *чирикать*, *стучать*, *журчать*, *шелестеть*, *шептать*, *шушукаться*? Понятно, что большинство слов полностью утратили связь между формой и значением. Более того, для большинства лексем эта связь едва ли когда-то будет восстановлена в результате этимологических изысканий. Можно поэтому заниматься спекуляциями относительно исконной произвольности знака и отсутствия связи его формы и значения в том числе непосредственно в акте наречения, о чём речь шла выше. Отсутствие доказательств этого последнего постулата может и не смущать, учитывая отсутствие исторически подтверждённой мотивации у большинства лексем. Можно, конечно, ссылаться на то, что все доказанные этимологии обнаруживают мотивированность знака, а также на то, что немногочисленные непроеводные неологизмы возникали исключительно на основе того или иного мотива, требуя серьёзного отношения к описанному выше принципу общего униформизма в истории естественных языков. Однако огромная масса немотивированных образований даже при историческом подходе к языку являет собой немой вопрос: возможно ли, чтобы так много слов не имели никакой объяснимой истории своего возникновения?

Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо понимать, о чём именно мы спрашиваем. То есть здесь нужно проникнуть в глубину самой проблемы, прежде чем пытаться эту проблему как-то разрешить. Правильная постановка вопроса оказывается едва ли не важнее предлагаемых ответов, которые в этом случае станут понятными сами собой. Вернёмся к одному из основных принципов антропоцентрического подхода к языку

как модулю, заключённому в мозге каждого из его носителей. Предположим, что разные структуры этого модуля имеют в мозге разную локализацию или, оперируя более современными понятиями, применяемыми в нейрофизиологии, расположены в разных локальных нейронных сетях. Данная гипотеза принята сегодня в нейрофизиологии как основная, однако в целях большей наглядности нам придётся отказаться от её более детального описания и ограничиться крайне схематическим представлением. Между разными участками мозга, отвечающими за разные виды его деятельности, в том числе языковой, существуют сложные взаимосвязи и многообразный взаимообмен, в чём-то сходный с принципом сообщающихся сосудов, если вообще возможны такие крайне упрощённые аналогии. Представим себе далее, что в одном «месте» локализованы структуры, отвечающие за удержание в долговременной памяти символов вне зависимости от процедур их порождения, то есть логически обусловленной систематизации. Назовём это «место» условно *идиоматическим модулем*. Наряду с этим модулем имеется другой, который условно назовём *систематическим*, отвечающим за правила, согласно которым порождаются знаки, образуясь друг от друга и составляя парадигматические цепочки. Здесь уже семиотическая процедура предусматривает не удержание в памяти асистемно представленных знаков, но применение правил, основанных на принципах их структурных взаимосвязей, в частности, правил словосложения, словопроизводства, морфологических связей типа склонения, спряжения и т. п. Допустим далее, что оба модуля не исключают и даже предполагают переток знаковой информации из одного в другой. Как в таком случае будет выглядеть (повторю, в самом грубом виде и лишь ради наглядности смоделированная) взаимосвязь между языковой систематикой и языковой идиоматикой? В «модуле правил» всё по определению мотивировано, и именно он «отвечает» за первоначальную номинацию и все её последующие модификации, какого бы рода они ни были. Но переходя в «модуль чистой памяти», знак может терять свои парадигматические «привязки» к предшествующим ему знакам и

сохраняться там в своём идиоматическом виде. Более того, при освоении языка ребёнком совершенно необязательно начинать с систематического модуля, достаточно просто запомнить словоформу и её значение, без всякой мотивированности. Так обычно и происходит, когда ребёнок постепенно узнаёт новые слова. Одновременно происходит систематизация словоформ, а значит, и понимание «мотивов» их взаимосвязей. При этом обе когнитивные процедуры непрерывно взаимодействуют. Раз поняв систему и её действие, ребёнок, а затем и взрослый носитель языка стремится «объяснить», «мотивировать» слово, «перебрасывая» его таким образом из модуля асистемной памяти в модуль правил, даже если эти правила моделируются им по какой-то индивидуальной программе и не соответствуют языковому узусу.

Ярким примером такого перетока является так называемая народная этимология. Она основана на новом, как правило, ничего общего не имеющем с «настоящей» этимологией, осмыслении слова, поисках мотива, который был почему-то утрачен, попытке «втиснуть» формально поддающийся разложению на составляющие элементы знак в рамки правил словопроизводства или словосложения, обычно не путём простого переосмысления, а с изменением внешней формы. Так возникают народные слова типа *полуклиника* (то есть «не совсем клиника», медучреждение, где лечат, но при этом не нужно проводить несколько дней), *копитал* (от *копить*), *спинжак* («закрывающий спину») и т. п. В онтогенезе хорошо видно, как речь ребёнка, осваивающего язык, изобилует подобными образованиями с вторичной мотивацией взамен утраченной: *колыш* (то, что колышется на ветру, вместо *камыш*), *кусарь* (вместо *сухарь*), *вертилятор* (вместо *вентилятор*), *струганок* (вместо *рубанок*, в свою очередь производный от *рубить* в более общем, чем сегодня, значении ‘отделять что-то от чего-то’). Переосмысление возможно и без изменения внешней формы слова, как в случаях с «детской» этимологией слов *всадник* ‘тот, кто работает в саду’, *деревня* ‘лес; парк; сад’ (место, где много деревьев), *рубанок* ‘топор’. Народная этимология, или псев-

доэтимология, является одним из способов вторичной мотивации, или «ремотивации» (немецкий термин *Remotivierung*), принадлежащей к базовым процессам эволюции языкового знака, в основе которых лежит стремление к восстановлению утраченной иконичности, метко названное Рюдигером Харнишем «реконструкционной иконичностью» (*rekonstruktioneller Ikonismus*) (ср. Harnisch 2004). Эти же механизмы лежат в основе «оживления» мёртвых, утративших исконную мотивированность метафор (ср. Lakoff/Johnson 1980: 198–199). Впрочем, псевдоэтимологии и оживление мёртвых метафор представляют собой лишь вершину айсберга семантических процессов, происходящих в естественных языках в «поле напряжённости» между мотивацией, идиоматизацией и ремотивацией. Силовые линии этого поля порождают скрытые процессы, результаты раскрытия которых подчас превышают силу нашего воображения. Скажем, как возможно объяснить наличие сквозных мотивов номинации в разных языках? Иногда они, правда, лежат на поверхности. Например, цветок под названием *гвоздика* — производное от уменьшительной формы существительного *гвоздь* — *гвоздик*. Тот же самый мотив переноса лежит в основе немецкого слова *Nelke*, восходящего к старой форме *nagelkîn*, то есть буквально ‘гвоздик’. Гвоздика действительно очень похожа на гвоздь, однако сам факт того, что два этимологически не связанных друг с другом слова в разных языках повторяют совершенно одинаковый тип словопроизводства, включая использование уменьшительного суффикса, нетривиален. Немецкое слово *Muskel* ‘мышца’ возникло как заимствование из латинского *mūsculus* ‘мышка’ — диминутивного образования от *mūs* ‘мышь’, и совершенно тот же тип образования слова с исконно переносным значением свойствен для русского слова *мышца*, заимствованием не являющегося. Здесь налицо сравнение движения мускулов под кожей с короткими перебежками мыши, и снова, как в случае с *гвоздикой*, применяется уменьшительный суффикс. Казалось бы, образ, лежащий в основе переноса, очевиден, и всё же удивляет последовательность, с которой именно этот, а не какой-то другой образ использует-

ся в метафоре независимо от языка, включая такие детали, как уменьшительный суффикс.

Ещё один пример, особенно яркий. Имя существительное *точка* произошло от глагола *тыкать*. В основе метафоры, которая сегодня является мёртвой, неощущаемой языковым сознанием говорящих, лежит вполне понятный образ — ткнув острым предметом в какую-то поверхность, мы часто получаем отпечаток именно в виде точки. Поскольку в древности писали с помощью клиновидных палочек, данное значение вполне мотивировано. Можем ли мы, однако, ожидать, что именно эта метафора будет использована в других языках? Какова вероятность такого способа номинации в качестве универсального? По-латыни *точка* — *punctum*, а, скажем, немецкое *Punkt* ‘точка’ — заимствование из латыни, как и английское *point*, русское *пункт* и т. п., с уже иным значением. Латинское существительное *punctum* является по своему происхождению производным от глагола *pungere* со значением ‘ткнуть, уколоть’ и первоначально означало ‘место укола, что-то, что проткнули, прокололи или укололи’. Налицо явная параллель в мотиве латинского слова и не имеющего с ним никакой этимологической связи слова *точка* в русском языке. Понятно, что в современном немецком языке мотив «укола» полностью утрачен, и слово *Punkt* является немотивированным. И вот в нём в какой-то момент возникает сложное слово *Stichpunkt* со значением ‘точка отнесения; подпункт; основной тезис’, буквально же — ‘точка укола’, от *Stich* ‘укол’, производного от глагола *stechen* ‘(у)колоть’. Исторически налицо тавтология «укол-укол», но, поскольку мотивация слова *Punkt* в немецком языке безвозвратно утрачена, происходит почти совершенно необъяснимое «возобновление» мотива метафоры. Случайностью такие примеры быть, конечно, не могут. Они — свидетельство наличия «сквозных», независимых от исторического измерения, мотивов номинации, проходящих по тем же линиям единого, универсального мотивационного поля.

Динамика грамматических форм в онтогенезе и филогенезе

Изменения в лексике естественных языков понять намного проще, чем, скажем, изменения в грамматике. Это объясняется тем, что лексическое значение слов меняется в целом быстрее, чем функция грамматической формы или конструкции. Сказанное не является, конечно, абсолютным правилом. Изменения в семантике отдельных слов и, тем более, в их акустической форме могут охватывать иногда несколько столетий и длиться даже дольше, чем грамматические изменения. Речь здесь о том, что словарный состав как подсистема языка более подвижен, чем его грамматический каркас, в силу чего мы можем непосредственно наблюдать у лексических единиц динамику в синхронии; наше языковое сознание именно *прежде всего через словарь* становится *причастным историческому измерению языка*. Мы говорим, что то или иное слово или выражение раньше употреблялось чаще или реже, что такое-то слово возникло недавно, а другое устарело и т. п. Известно, например, свойство неологизмов быстро превращаться в архаизмы или вовсе исчезать из языка. Все эти процессы наблюдаются членами языкового сообщества в течение их жизни, то есть жизни одного поколения, причём нередко за время жизни одного поколения носителей языка в его

лексическом составе несколько раз происходят весьма ощутимые изменения. Общение говорящих на одном языке представителей разных поколений выявляет динамику лексических изменений особенно ярко: родители говорят «не совсем так», как дети, язык бабушек и дедушек ещё более существенно разнится от языка их внуков, причём прежде всего именно в сфере лексики. Грамматические конструкции тоже не абсолютно стабильны и неизменны на протяжении жизни одного или двух поколений носителей языка, однако происходящие в них изменения не столь обширны и несомненны, они, как правило, охватывают гораздо большие отрезки времени, а потому зачастую кажутся практически застывшими.

Стоит, однако, заняться более глубокими, диахроническими изысканиями, требующими специальных лингвистических знаний и владения методикой реконструкции грамматических форм и сравнения текстов разных этапов развития языка и разных языков, как выясняется, что и грамматические формы и структуры, равно как и их функции, подвержены изменениям, причём ещё более глубинным и последовательным, чем лексические единицы. Увидеть многие такие изменения может, впрочем, и неспециалист, но обычно не в виде завершённого процесса, а как некую тенденцию, вектор развития. Рефлексия простого носителя языка относительно грамматических изменений не выходит за рамки его языкового опыта, но и она может оказаться вполне адекватной реальным процессам развития языка. Правда, такие наивные наблюдения зачастую достаточно жёстко пресекаются стражами языковой нормы, в качестве которых обычно выступают писатели и вообще «деятели культуры», школьные учителя и вузовские преподаватели, журналисты и прочие работники СМИ, а также (и это вызывает особое сожаление) филологи и лингвисты, считающие главной задачей языковеда консервацию неких образцовых форм литературного языка и их защиту как от «вандализма улицы», так и от «тлетворного влияния» иностранных языков. В истории всех языков, достигших этапа письменно-литературного стандарта, время от времени вспыхивают горячие споры, какие

языковые формы следует отстаивать и внедрять в повседневный обиход, а от каких в силу самых разных причин следует отказываться, замещая их «более благозвучными», родными по происхождению и т. п. Выше уже говорилось, сколь парадоксальными могут быть результаты деятельности пуристов и прочих борцов за чистоту родного языка, когда их предложения по его улучшению, сталкиваясь с законами системы, без всякой санкции «нормативных органов» отклоняются, так сказать, самим языком.

Сегодня, как и в прежние времена, споры о «правильном ударении», «словах-паразитах» и прочих зачастую химерических проблемах культуры речи ведутся с накалом, достойным лучшего применения. Ударение в формах глагола *звонить* стало, в частности, едва ли не общепризнанным маркером, по которому проходит невидимая грань между образованной частью общества и людьми, говорящими «неправильно» в силу якобы недостатка речевой культуры. Возмущение по поводу форм *звóнит*, *позвóнишь* и т. п. среди значительной части «культурного общества» считается вполне законным и с удовольствием тиражируется, в частности, ведущими телепрограмм. Зададимся, однако, чисто лингвистическим (то есть системным) вопросом: в чём, собственно, «неправильность» данных форм и чем формы со следующим по очереди ударным слогом «лучше»? Простое сравнение данных форм с формами глаголов с аналогичной морфологической структурой показывает, что просодический рисунок в сопоставляемых сегментах слова вполне допускает перенос акцента на один слог назад, ср. *ходить* — *ходит*, *варить* — *варит*, *солить* — *солит* и т. п. Более того, тенденция к сдвигу ударения видна совершенно отчётливо. Так, в известной басне И. А. Крылова «Стрекоза и Муравей» *зима катíт в глаза*, а ещё в тридцатые годы прошлого века орфоэпической нормой была *солíт*. Одновременно тенденцию к сдвигу словесного ударения влево заметил и использовал в стихотворной рифме ещё А. С. Пушкин (*День проше́л — царица вóнит / А дитя волну торопит* — «Сказка о царе Салтане»). В диалектах и вообще в устной разговорной речи подобные тен-

денции проявляются, конечно, намного быстрее, чем в несравненно более консервативном литературном стандарте. Однако само стремление к консервации более старых языковых форм и культивированию исключений имеет свои основания. Дело в том, что правила, касающиеся языковой органики, как бы стихийно действующие на уровне системы, в языковом сознании непрестанно сталкиваются с правилами иного рода — нормами, складывающимися на основе приоритетов, относящихся не столько к природе языка, сколько к постоянным попыткам его «возделования» и «улучшения». Здесь действует принцип, прямо противоположный аналогии и состоящий, если говорить несколько упрощённо, в повышенном внимании к ценности аномалии.

Исключение, аномалия выступает в этой модели в качестве некоего знака качества системы, состоящего в том, что язык, как специфически человеческий феномен, не подчиняется безусловно каким-то внутренним законам, подобно природным явлениям, а обнаруживает черты, которые могут произвольно объявляться его носителями более правильными, ценными и благозвучными, чем иные, даже если эти последние более соответствуют правилам системы как таковой. Эта коллизия системы и нормы, природного и произвольного в языке достигает своей вершины там и тогда, где и когда язык развивает не просто наддиалектные формы, а становится кодифицированным в словарях и нормативных грамматиках, обязательным к употреблению именно в *данной* форме стандартом. И здесь даже у лингвистов возникает искушение перейти от обычной практики научного описания и объяснения того, как устроен и как развивается язык, к созданию рукотворных норм говорения и писания на том или ином языке. Это стремление поддерживается запросом общества на совет эксперта от языка, как следует правильно говорить и писать. Как бы то ни было, интерес к стихийно проявляющимся в языке тенденциям, в результате которых ошибки и неправильности сегодняшнего дня становятся нормами дня завтрашнего, подавляется попытками законсервировать то, что представляется правильным хотя бы уже

в силу того, что является привычным. Остановить естественную тенденцию развития такими способами, конечно, невозможно. Можно её в лучшем (или в худшем) случае задержать.

Очевидно при этом, что то, как складываются формы и формируются парадигмы в литературном стандарте, носит чаще всего стихийный характер независимо от вкусов и приоритетов хранителей и культиваторов языка. Рассмотрим классический пример такого развития — парадигму спряжения глагола *хотеть* в настоящем времени. Формы единственного числа данного глагола *хочу*, *хочешь*, *хочет* характеризуются чередованием согласного (*т* повсюду переходит в *ч*) и сдвигом ударения влево в формах второго и третьего лица. В диалектных по своему происхождению и просторечных по своему статусу относительно литературной нормы формах второго и третьего лица *хотѝшь* и *хотѝт* чередование согласного отсутствует и ударение не сдвигается. При этом совершенно очевидно, что формы эти с системной точки зрения абсолютно безупречны и с точки зрения языковой экономии более «жизнеспособны». Тем не менее они не прижились в литературном языке и воспринимаются сегодня как крайне неблагозвучные и отклоняющиеся от нормы. Конечно, и формы литературного языка возникли столь же спонтанно и происходят от других, более сложно построенных, однако также абсолютно органичных диалектных форм. Тот факт, что мы говорим сегодня так, а не иначе, следует считать при этом в значительной мере случайным. Вполне возможен был бы сценарий, при котором формы *хотѝшь* и *хотѝт* стали бы литературной нормой, а *хочешь* и *хочет* — просторечными, «неправильными». Об этом свидетельствует, в частности, парадигма множественного числа того же глагола — *хотим*, *хотите*, *хотят*. Здесь нет ни чередования согласного, ни сдвига акцента. Эти формы, бесспорно, происходят из того же самого региона, что и просторечные формы единственного числа, однако в отличие от последних они прижились в литературном стандарте. Напротив, формы с чередованием согласного и корневым акцентом *хóчем*, *хóчете*, *хóчут* имеют тот же самый статус, что и формы *хотѝшь* и

хотѣт. Иными словами, мы видим зеркальную картину, в которой формы единственного и множественного числа одного и того же глагола, ставшие литературной нормой, имеют полярное диалектное происхождение. В итоге возникла аномальная парадигма, чрезвычайно сложная для усвоения даже носителями языка (на стадии обучения, то есть в детстве), не говоря об иностранцах¹. Но именно аномальность форм вызывает у овладевшего ими чувство удовлетворения от полученного знания и навыка. Этим отчасти обусловлена та самая «ценность аномалии» в сознании говорящих, о которой уже упоминалось выше.

Рассмотрим ещё один пример. Формы родительного и винительного падежа личного местоимения *его, её, их* в русском литературном языке совпадают не только друг с другом, но и с формами притяжательного местоимения, что является явной проблемой в коммуникации, поскольку даже в контексте часто трудно определить, какой падеж имеется в виду. В просторечии поэтому часто используется форма притяжательного местоимения третьего лица множественного числа *ихний, ихняя, ихнее*, отвергаемая литературной нормой. Формы единственного числа *евонный, ейный, еёшний* не используются даже в общепотребительном просторечии и сохраняются исключительно в регионально окрашенной речи. Все эти формы позволяют

1 Согласно центральному постулату теории так называемой лингвистической естественности (нем. *linguistische Natürlichkeit*) (ср. Mayerthaler 1981, Wurzel 1984, Dressler et al. 1987), подобные формы следует рассматривать как «нестественные», поскольку они не отвечают принципу «конструкционной иконичности», предполагающему минимальную маркированность противопоставляемых грамматических форм. Максимально иконичными, а потому естественными, являются, согласно данной концепции, скажем, формы множественного числа подавляющего большинства английских существительных, образуемые путём добавления к основе единственного числа суффикса *-s*: *boy — boy-s, book — book-s* и т. п. Перегруженные дополнительными маркерами формы, напротив, в исторической перспективе являются нежизнеспособными, а потому со временем замещаются более иконичными, а значит, более «естественными». Похожие мысли содержатся в ориентированных на идеи генеративной грамматики теориях «минимализма» и «оптимализма», объясняющих языковые изменения так или иначе трактуемым принципом языковой экономии и иконично организованных оппозиционных пар (ср. Fanselow/Felix 1987).

однозначно вычленить притяжательное местоимение на морфологическом уровне, а следовательно, снимают возможные разночтения на уровне синтаксиса. Тем не менее такая, казалось бы, весьма естественная для языка дифференциация в литературном стандарте отсутствует. Предпочтение понимаемого достаточно условно и субъективно «эстетического» свойства оказывается сильнее системной мотивации и прямых коммуникативных потребностей.

Перейдём к ещё более характерным и несомненным, хотя и не всегда столь очевидным, примерам синтаксического характера. В современном русском языке наблюдается вторжение (иначе это трудно назвать) слов и сочетаний *типа, типа того, как бы*, которыми в устной речи часто сопровождается едва ли не каждое второе высказывание. При этом речь идёт не о прямом значении данных единиц, а об их употреблении в функции специфических речевых сигналов, лишённых собственной семантики, ср. высказывания *Он типа инженер; А Николай как бы уже ушёл; — Вы поняли, что я хотел сказать? — Ну, типа того!* и т. п. Языковое сознание говорящих настоятельно требует мотивации употребления каждого из элементов высказывания, тогда как подсознательно происходит последовательное переосмысление отдельных элементов, которые на поверхностном уровне кажутся немотивированными и в силу этого нелегитимными. При этом данные элементы вовсе не лишаются функциональности, а лишь кардинально её меняют. Понятно, что в высказывании *Он типа инженер* профессия и квалификация человека, о котором говорится, вовсе не подвергается сомнению; Николай, который *как бы* уже ушёл, действительно ушёл, о чём говорящий прекрасно осведомлён; собеседник вполне понял, что ему хотели сказать, и т. д. Но коллизия, возникающая в результате того, что *как бы* и *типа* раньше всегда употреблялись, в частности, в функции ограничителей эпистемической сферы высказывания (то есть оценки его соответствия фактам со стороны говорящего), настоятельно требует своего разрешения. Попытки отрефлексировать данный «парадокс» приводят зачастую к курьёзным выводам. Мне приходилось

слышать мнение в том числе известных лингвистов, что использование подобных речевых рестрикторов (ограничителей), так сказать, «не по назначению» связано с возрастающей размытостью фактического, реального в современном мире, относительностью истины, неуверенностью говорящего в истинности своих высказываний или, наоборот, некоей иронически окрашенной дистанцией к «якобы факту». Мол, и инженеры стали, по мнению многих, не вполне настоящие, и понимание всегда неполное и относительное, да и сам факт того, что кто-то пришёл или ушёл, не вполне реален. При всей кажущейся оригинальности и правдоподобию таких объяснений они должны быть решительно отвергнуты как не имеющие ничего общего с подлинной природой рассматриваемых здесь языковых изменений.

В описанных выше случаях мы имеем дело с возникновением речевых частиц, материалом для которых служат наречия, местоимения, имена существительные, в том числе в сочетании с местоимением или предлогом, частицы других классов и т. п. Общей, недифференцированной функцией таких сигналов является дополнительная маркированность отнесённости высказывания к индивидуальной сфере говорящего, который тем самым подчёркивает тот факт, что пропозиция (фактическое значение предложения) не просто транслируется им, но получает эксплицитно выраженную отнесённость к говорящему. Томас Фритц (Fritz 2000) называет этот феномен *Sprecherbezug* («отнесённость к говорящему»), причём данная отнесённость создаётся самим говорящим при помощи различных сигналов, в том числе речевых частиц. Последние всегда производны от других частей речи и в силу своей вторичности воспринимаются носителями языка в первую очередь как носители первичной функции. Поскольку же их вторичная функция не соотносится с семантикой своей первоосновы, их использование в речи воспринимается как известное недоразумение. Поэтому речевые (иллокутивные) сигналы такого рода, посредством которых говорящий держит собеседника в поле своего присутствия, словно напоминая ему, что сказанное говорится *именно*

им, оцениваются слушающим как вполне устранимые помехи, «слова-паразиты», свидетельствующие о низком уровне речевой культуры, косноязычии и т. п. Если же кого-то не устраивает такое чисто «ценностное» объяснение, делаются попытки объяснить наличие таких, казалось бы, ненужных слов иначе — попытки вроде тех, что описаны выше. В действительности здесь налицо процессы, которые возникли не вчера и даже не сто или двести лет назад. Именно таков был путь, пройденный речевыми частицами, которые сегодня употребляются на каждом шагу и не вызывают возражений, потому что к ним мы давно привыкли: *вроде, мол, вот, ведь, же, однако* и т. д. Сегодня никому не придёт в голову разлагать частицу *вроде* на предлог *в* и существительное *род* в предложном падеже, хотя исторически она возводится именно к данному предложному сочетанию с исконным значением ‘в (этом) роде’; производная от *молва, молвить* частица *мол* с эвиденциальным значением (то есть значением отнесённости говорящим своего высказывания к лежащему вне его источнику информации) живёт собственной жизнью; частица *ведь*, производная от глагола *ведать*, является типичным речевым индикатором, подчёркивающим вовлечённость говорящего в содержание высказывания, и т. д. Понятно, что та же судьба ждёт и раздражающие сегодня многих речевые частицы *как бы, типа*, посредством которых говорящий придаёт своему высказыванию дополнительную ноту, которую можно самым общим образом описать как «я здесь!», «это говорю я». Причина такого построения высказывания говорящим и его восприятия слушающим, согласно справедливому замечанию Вернера Абрахама (Abraham 2017: 75–76), состоит в том, что слушающий не разделяет с говорящим всех предварительных конвенций (*common ground*), предшествующих их диалогу на заданную тему. Прямым следствием этого является «эффект миративности» (*Mirativeffekt*), который можно в самых общих чертах описать как сигналы неожиданности, удивления.

Джон Лайонз (Lyons 1977: 793–809) делает в этой связи фундаментальное различие между фактическими и эпистемическими высказываниями. Первые он называет *It-is-so-sentenc-*

es (предложения типа *Это так.*), вторые — *I say-you-so-sentences* (предложения типа *Я тебе говорю так.*). Во втором случае говорящий отказывается от простой констатации факта, замещая её либо своими или чужими предположениями, либо констатирует факт как нечто, включающее в себя дополнительные черты, свидетельствующие о его вовлечённости в описываемое событие. Скажем, предложение *Тебе это давно известно* не содержит никаких дополнительных речевых маркеров, тогда как предложение *Ведь тебе это давно известно* не просто видоизменяет форму высказывания, но радикально переключает его смысловой регистр, выражая удивление говорящего, его недоумение словами или поступками собеседника, который, по его мнению, должен был бы говорить или поступать иначе с учётом имеющейся у него информации. Аналогично высказывание секретаря ректора *А он как бы уехал* содержит известное недоумение по поводу желания посетителя видеть ректора или его сожаление в связи с тем, что это в данный момент невозможно, но никак не сомнение в факте отсутствия ректора на своём рабочем месте. Вопрос, справится ли Алексей Петрович с несложной математической задачей, могут парировать высказыванием *Но он как бы матфак окончил* или *Так он типа математику преподаёт*. На сегодняшний день подобные фразы «режут ухо» и даже кажутся бессмысленными, поскольку пока ещё живо собственное значение *как бы* и *типа*, которые здесь выступают в совершенно иной роли, а их новая функция возникает лишь на наших глазах. Однако со временем они просто пополнят ряд речевых индикаторов отнесённости к сфере говорящего, его вовлечённости в область формулируемого им высказывания, перестав вызывать у нас ассоциации с первоначальным значением речевой частицы.

Поскольку формы *как бы* и *типа (того)* пока не утвердились окончательно в статусе речевых частиц, функция которых описана выше, их употребление в данной функции будет вызывать нарекания со стороны защитников «чистоты» языка, пытающихся санкционировать процессы развития языка, не зависящие от нашего желания, индивидуального восприятия

и того, на каком отрезке условной «ценностной» оси мы их размещаем. Однако достаточно сравнить с данными формами итоги грамматикализации сходных единиц, чтобы понять, что мы боремся здесь с ветряными мельницами. Скажем, наречие *хорошо* по своей исконной семантике, сохраняющейся до настоящего времени, означает позитивный оценочный признак действия, состояния и т. п., выражаемого сказуемым, ср. *Моя жена очень хорошо водит машину, Больной сегодня впервые после операции хорошо спал*. Вместе с тем данная форма нередко используется в языке в качестве показателя согласия на что-либо. Такой перенос вполне понятен, поскольку согласие предполагает, как правило, положительную оценку предложения, ср. *Хорошо, обсудим этот вопрос завтра*. Однако в случае, например, вынужденного согласия, которое нам вовсе не по душе, наличие исконной позитивной оценки наречия никоим образом не препятствует употреблению слова *хорошо*, ср. *Хорошо, раз Вы настаиваете, я подчинюсь, но имейте в виду, что я снимаю с себя ответственность за последствия Вашего решения*. Став так называемым вводным словом, а точнее, речевой (иллокутивной) частицей, слово *хорошо* не только теряет принадлежность к классу наречий (то есть не отвечает на вопрос *как?* и вообще на какой-либо вопрос), но и может утратить первоначальную «позитивно-оценочную» семантику, сохраняя лишь значение аффирмативности (принятия некоего предложения, согласия на какое-либо действие или на бездействие). Понятно, что нам свойственно соглашаться прежде всего с тем, что нам самим кажется не просто приемлемым, но именно «хорошим» и правильным. Но такое объяснение пригодно лишь для интерпретации *мотива* переноса при грамматикализации, однако отнюдь не предполагает *сохранения* данного мотива как семантической константы у грамматикализованной формы.

Сходный путь развития — от обозначения необходимости или возможности до речевых индикаторов уверенности или предположения говорящего относительно реальности события — прошли так называемые модальные глаголы и иные модальные слова. Предложение *Гости могут приехать уже сегодня*

ня вне контекста неоднозначно. Оно может означать как то, что гости имеют возможность приехать уже сегодня, так и предположение говорящего, что гости приедут уже сегодня. В первом случае глагол *мочь* характеризует подлежащее с точки зрения возможности осуществления его референтом того или иного действия в тех или иных условиях. Бернд Хайне (Heine 1995) ввёл для обозначения этой функции понятие агентивно-ориентированной (agent-oriented) модальности. Во втором случае глагол *мочь* никак не характеризует подлежащее, и его единственной функцией является обозначение предположения говорящего. Такой тип модальности именуется эпистемическим (epistemic) (там же). Подобная оппозиция представлена в предложениях с модальным предикативом *должен*, который может обозначать как необходимость в отношении субъекта высказывания, так и уверенность говорящего в том, что то или иное событие действительно произойдёт, ср. *Гости должны приехать* [обязаны приехать vs. несомненно приедут] *уже сегодня*. Ив Свитсер (Sweetser 1982), Франк Пальмер (Palmer 1986), Ангелика Кратцер (Kratzer 1991) и ряд других исследователей называют первый вид модальности «корневой модальностью» (root modality) в отличие от модальности эпистемической (epistemic modality). Габриеле Дивальд (ср. Diewald 1993) говорит о недейктической и дейктической модальности (nicht deiktische vs. deiktische Modalität). Более распространёнными терминами в специальной литературе являются «деонтическая» и «эпистемическая» модальность (ср., среди прочих, Öhlschläger 1989: 28–29, Hundt 2003, Аверина 2010), а более старыми — модальность «объективная» и «субъективная» (ср. Fourquet 1970, Lyons 1977). Сущностным отличием эпистемической модальности от «корневых», исконных модальных значений является то, что она в отличие от последних не привязана к пропозиции (семантике предложения), а внеположена ей и характеризует отношение говорящего к фактическому содержанию предложения (ср. Diewald 1993: 231; Fritz 2000: 117).

При этом с точки зрения языковых изменений чрезвычайно важно, что глагольная эпистемическая модальность произ-

водна от модальности «корневой», деонтической, но никогда не наоборот (ср. Stutterheim 1993: 10, Fritz 2000: 117). Направление изменения — всегда от деонтики к эпистемике, то есть от исконной модальности, привязанной к субъекту высказывания, — к модальности, мотивированной отношением говорящего к пропозиции. Какие механизмы лежат в основе такого переосмысления, является чрезвычайно сложной проблемой, выходящей далеко за пределы тематики настоящей книги. Читателей, интересующихся данным вопросом, отсылаю поэтому к работам Вернера Абрахама, Элизабет Лайсс, а также к собственным работам, в том числе написанным в соавторстве с Моникой Шёнхейп (Abraham/Leiss 2008; 2009; 2012, Kotin 2011a, Kotin/Schönhegg 2012).

Существенным в плане обсуждаемых здесь проблем является единственно тот факт, что возникновение эпистемических, то есть привязанных к говорящему, а не характеризующих субъект самого высказывания, прочтений модальных глаголов всегда следует за прочтениями «корневыми». Это касается как филогенеза, то есть хронологической последовательности развития данных значений, так и онтогенеза, то есть последовательности освоения соответствующих значений и функций при изучении родного языка ребёнком. Как убедительно доказала экспериментальным путём в своей диссертации Елена Науменко (ср. Naumenko 2008: 215–219) на примере немецкого глагола *müssen* ‘долженствовать’, ребёнок осваивает эпистемическое прочтение данного глагола в существенно более старшем возрасте, чем его деонтическое («собственно модальное», корневое) значение. Из многочисленных исследований по истории языка известно при этом, что, как уже говорилось выше, эпистемическое прочтение, являющееся итогом грамматикализации модального глагола, возникает на базе корневого прочтения как относящейся к субъекту высказывания пропозиции. Можно поэтому с уверенностью утверждать, что филогенез здесь конгениален онтогенезу.

Рассмотрим данный феномен более подробно, в частности, с точки зрения смежных с модальностью категориальных

функций вида и временной отнесённости. Предложение *Гости могут / должны приехать сегодня* ребёнок шести-семи лет понимает только в смысле корневой модальности *мочь* и, соответственно, *долженствовать* — возможности и обязанности. Предположение или уверенность родителей, что гости придут, то есть отнесение сказуемого к сфере говорящего, а не субъекта действия, остаются пока за пределами его языкового сознания. Поскольку глаголы, обозначающие прибытие, как правило, выражают завершённость в сочетании с вовлечённостью события в новое пространство, их модальное значение в форме будущего времени не меняет временной и видовой перспективы. Поэтому к 12–14 годам ребёнок просто добавляет к имеющемуся у него инвентарю знаний о значении модального сигнала новую функцию, в результате чего интерпретация приведенного выше примера становится расщеплённой и зависит от контекста. В обоих случаях, однако, совершенный вид глагола, выражающий завершённость действия, сочетается с его направленностью в будущее.

Если же модальный сигнал сочетается с глаголом, который потенциально может выражать как длительный, так и завершённый процесс, то от того, как прочитывается модальный глагол или его эквивалент (модальный предикатив), зависит и временная, и видовая функция. Предложение, адресованное ребёнку шести-семилетнего возраста: *Твоя курточка должна висеть в шкафу*, воспринимается им как указание, что он должен повесить курточку в шкаф, что её место в шкафу, а не, скажем, на спинке стула. Понять его как предположение родителей, что курточка, по-видимому, висит в шкафу, он в этом возрасте (по крайней мере, самостоятельно) не в состоянии. В возрасте около 12 лет (то есть достаточно поздно, учитывая что к этому возрасту ребёнок владеет языком практически как взрослый) он без языкового или ситуативного контекста уже не может с точностью знать, о чём речь. Если прочтение модального сигнала — «корневое», то предложение имеет значение завершённости в будущем: куртку следует повесить в шкаф, в момент речи она находится вне шкафа. При эпистемическом

прочтении куртка уже сейчас висит в шкафу (если, конечно, предположение соответствует действительности, так как эпистемическая функция модального сигнала исключает простую констатацию факта). При этом глагол выражает не завершённое действие, а длительное состояние. В подобных случаях действует «правило Вернера Абрахама», согласно которому деонтическая («корневая») модальность предполагает завершённость и направленность в будущее (в случае форм настоящего времени), тогда как эпистемическая модальность сочетается с длительностью и относится к настоящему (ср. Abraham/Leiss 2008: XII — XIII), ср. англ. *Pete must die*. ‘Пётр должен умереть.’ vs. *Pete must be dying*. ‘Пётр, должно быть / по-видимому / вероятно, умирает.’ Этот пример из английского языка наглядно показывает то, что в других языках является скрытой грамматической функцией, выявляемой лишь косвенным путём.

В прошедшем времени модальный сигнал меняет общую перспективу при сохранении однородности видовой и временной семантики. Предложение *Гости могли / должны были приехать сегодня* при «корневом» прочтении модальности означает, что гости, несмотря на возможность своего приезда или его необходимость, всё же не приехали. Эпистемическое же прочтение предполагает, что гости, *возможно*, или, соответственно, *скорее всего*, приехали. Различие здесь настолько велико, что, например, в немецком языке используются две принципиально разные конструкции. Деонтическое прочтение ставит вспомогательный глагол *haben*, с помощью которого образуется форма перфекта, в позицию спрягаемого глагола, а модальный глагол выступает в специфической форме так называемого «заместительного инфинитива» (Ersatzinfinitiv), поскольку замещает обычное в таких случаях страдательное причастие, ср. *Die Gäste haben heute kommen können / müssen*. ‘Гости могли (имели возможность) / должны (обязаны) были приехать сегодня.’; *Die Jacke hat im Schrank hängen können / müssen*. ‘Куртка могла / должна была висеть в шкафу (можно было / следовало повесить куртку в шкаф / оставить её висеть в шкафу).’ Эпистемическое значение кардинально меняет синтаксическую конструкцию:

в позиции спрягаемого глагола оказывается модальный глагол, получающий таким образом роль вспомогательного, а вспомогательный глагол *haben* (или *sein*) в форме инфинитива переносится на конец предложения: *Die Gäste können / müssen heute gekommen sein*. ‘Гости могли / должны были приехать сегодня (может быть / скорее всего приехали сегодня).’; *Die Jacke kann / muss im Schrank gehangen haben*. ‘Возможно / скорее всего, куртка висела в шкафу.’

Таким образом, между деонтическим («корневым») и эпистемическим прочтением модальных глаголов и сравнимых с ними модальных сигналов (типа русского *должен*) есть не просто различие, но различие, имеющее прямое отношение к развитию языка. В онтогенезе речь идёт о более позднем освоении эпистемической модальности, которое, очевидно, требует более развитых структур неокортекса, позволяющих перенести модальное значение из сферы самого предложения (пропозиции) в сферу говорящего путём выведения модальной функции из области субъектно-предикатных отношений в область оценки соответствия предложения в целом истине с точки зрения говорящего. Чтобы переосмыслить корневую модальность в эпистемическом ключе, требуется весьма существенное интеллектуальное усилие, предполагающее высокий уровень развития нейронных связей в тех участках мозга, которые отвечают за язык. Филогенез повторяет здесь онтогенез, чего, собственно, и следовало ожидать в подобном развитии категориальных функций от более простых к более сложным. Именно поэтому в истории языков эпистемическая модальность всегда возникает позднее «корневой» и является производной от последней.

Задумавшись теперь другим вопросом, который поможет нам выйти на более обобщённый уровень рассуждений о динамике языковых процессов. Понятно, что корневая модальность (возможность, необходимость и т.п.), в свою очередь, также является далеко не примитивной по своей структуре сферой грамматики, хотя и более простой, чем модальность эпистемическая. Предложение *Игорь может решить эту задачу*, несомненно, сложнее предложения *Игорь решает эту задачу*. В

обоих случаях констатируется некий факт, однако в первом оценивается возможность осуществления действия, тогда как во втором лишь описывается само действие. Несложно предположить, что корневая модальность возникает как при освоении языка индивидуумом (в онтогенезе), так и в истории языка (филогенезе) на определённом этапе, уже после того, как усваивается / возникает в языке простая структура, не содержащая модального сигнала. Откуда в таком случае берётся сам модальный глагол или замещающий его сигнал (например, модальный предикатив вроде *должен*) сопоставимого с глаголом статуса? Совершенно очевидно, что искать его корни следует вне собственно модальной сферы, поскольку модальная функция должна быть производна от какой-то иной, более исконной. Скажем, русский глагол *мочь* в модальном значении происходит от более древнего значения ‘владеть’, ‘обладать’, а также ‘быть сильным, могущественным’, ср. имена существительные *мощь*, устар. *мочь* (сохранившееся в выражении *мóчи нет*), сохранившие исконную семантику глагольной основы. Предикатив *должен* происходит от древнерусского прилагательного со значением ‘платящий подать’, ‘обязанный’, ‘грешный’, восходящего к старославянскому слову со сходной семантикой. В германских языках модальные глаголы образуют грамматический класс так называемых претерито-презентных глаголов, то есть глаголов, формы презенса (настоящего времени) которых образованы по тем же правилам, что формы претерита (прошедшего времени) сильных глаголов. Поскольку германский сильный претерит генетически восходит к индоевропейскому перфекту (совершенному виду, выражавшему состояние, возникшее в результате завершённого процесса или действия), такая форма свидетельствует о том, что исконно модальные глаголы (когда они ещё не были собственно модальными) принадлежали к классу *perfecta tantum*, то есть не имели формы несовершенного вида и выражали такое состояние, которое может быть лишь результатом завершённого действия². Таким образом, значения возможности и необходимости производны

2 Подробнее ср., в частности, Kotin 2008a: 371–384; Котин 2013: 45–57.

от значений, соответственно, обладания или повинности, причём обладание должно пониматься как результат получения или освоения чего-то, а повинность — как результат того, что человек, скажем, задолжал кому-то что-то или перед кем-то провинился. Категория вида глагола как бы «управляет» здесь теми значениями, которые впоследствии возникают у глаголов, первоначально не имевших пары в несовершенном виде. После переосмысления возникает следующая картина. Исконная завершённость действия отпадает, а возникшее состояние получает истолкование, обуславливающее, в частности, направленность подразумеваемого действия в будущее. При этом исконно полнозначный глагол становится показателем того, что действие может или должно быть произведено, а само действие выражается инфинитивом другого глагола, в результате чего возникает составное глагольное сказуемое: *Я могу прийти, Вы должны прочесть эту книгу* и т. п. При этом количество глаголов в инфинитиве и их расположение ограничивается только общими структурными параметрами синтаксиса данного языка и информационной структурой высказывания. Скажем, в русском языке инфинитивов может быть достаточно много, ср. *Мы можем начать учиться танцевать*.

Элизабет Лайсс (ср. Leiss 1992: 15–30), развивая гипотезу Якобсона — Гийома³ о наличии в языке грамматических категорий разного уровня сложности при включённости более элементарных категориальных значений в более сложные, подчёркивает, что оба исследователя независимо друг от друга пришли к выводу о том, что категория глагольного вида является наиболее элементарным компонентом всех категориальных значений глагола (там же: 15). Данный вывод носит универсальный характер при условии, что вид определяется не просто как некая идиоэтническая (то есть свойственная лишь отдельным языкам) категория, а как категориальная функция с максимально абстрактным содержанием (там же: 28). Лайсс определяет её как противопоставление *внутренней перспективы*, из которой говорящим именуется действие, процесс, состояние и

3 Ср. Jakobson 1957, Guillaume 1929/1965.

проч., *перспективе внешней*. В первом случае говорящий находится как бы внутри события, погружён в него, а следовательно, лишён возможности целостного рассмотрения. Во втором случае он как бы наблюдает событие со стороны, рассматривая его как целое (ср. Leiss 1992: 35; 46–47, 2002: 11). Как базовая категория, глагольный вид присущ всем протоязыкам, однако их дальнейшее развитие приводит к большей или меньшей эрозии исконной видовой функции и возникновению новых категориальных функций, так или иначе содержащих следы вида, причём не только у глагола, но и у имени (ср. Leiss 2000; 2002). В славянских языках развивается видовая оппозиция, наиболее соответствующая исконной видовой паре — несовершенный vs. совершенный вид, ср. рус. *делать* — *сделать*, *читать* — *прочитать*, *строить* — *построить* и т. п. В германских языках данная оппозиция отсутствует и замещается целым рядом других, включающих в себя не только глагольные категории (разветвлённую систему времён и наклонений, гораздо более развитую, чем в славянских языках, систему модальных глаголов и т. п.), но и именную сферу (в частности, артикль).

Проверяя гипотезу Лайсс на примере модальных глаголов церковнославянского, русского, польского и немецкого языков в Псалтири, автор этой книги пришёл к однозначному выводу о её обоснованности. Современная Псалтирь на польском языке, согласно моим подсчётам, содержит всего 69 модальных глаголов, на русском — 34, на церковнославянском лишь один, тогда как в немецком тексте модальных глаголов оказалось 518, и в подавляющем большинстве случаев отсутствие модальных глаголов в славянских текстах полностью компенсируется наличием соответствующих видовых пар (ср. Kotin 2008b). В отношении церковнославянского языка следует дополнительно отметить, что роль вида усиливается (и роль модальности, соответственно, снижается) благодаря наличию аспектуально окрашенной грамматической формы аориста (ср. Eckhoff/Haug 2015).

Понятно, что вывод о категориальной конвергенции видовых и модальных значений сам по себе нетривиален и требует развёрнутого теоретического обоснования, что выходит далеко

за пределы рассматриваемых здесь общих проблем грамматической эволюции. Ограничимся поэтому некоторыми замечаниями, которые хотя бы отчасти устранят возможные недомыслия читателя по данному поводу. Выше уже отмечалось, что «корневая» модальность имеет по крайней мере косвенную связь с направленностью действия в будущее и его завершённой. Скажем, наличие в высказывании форм *может* или *должен* в корневом значении возможности или необходимости в большинстве случаев (хотя и не всегда) предполагает отнесённость события к будущему и его завершённую: *Я могу / должен написать письмо, пойти на работу, построить дом*. Если в языке категория вида отсутствует и различие между глагольными формами *писать* — *написать* и т.п. грамматически не выражено, то использование модального глагола, как правило, способствует прочтению фразы в целом именно как описывающей завершённое событие в будущем времени, ср. нем. *Ich kann / muss einen Brief schreiben / zur Arbeit gehen / ein Haus bauen*. Без модального глагола или другого аналогичного ему по функции модального сигнала использование простой или составной временной формы базового глагола будет в большинстве случаев двусмысленным. Таким образом, модальность помимо своей прямой функции имеет скрытограмматический потенциал, проявляющийся в той категориальной сфере, в которой прямые грамматические сигналы в процессе развития языка были утрачены.

Что же касается переноса видовой функции из глагольной части высказывания в именную, то здесь имеются некоторые ограничения, хотя в определённых случаях такая операция вполне возможна. Главным условием является рематическая позиция именной фразы, показывающая информационную новизну. Обычно в языках, имеющих категорию определённости/неопределённости, выражаемую артиклем, в данной позиции используется неопределённый или нулевой артикль, тогда как позиция имени с определённым артиклем закреплена за темой высказывания, кодирующей известное слушателю имя, ср. нем. *Wir haben einen neuen Schreibtisch gekauft. Der neue*

Tisch ist etwas größer als der alte. ‘Мы купили новый письменный стол. Новый стол немного больше старого’; *Der Verkäufer wog Äpfel. Die Äpfel waren alt und weich.* ‘Продавец взвешивал яблоки. Яблоки были старыми и мягкими’. Артикль в этой позиции служит, как видим, построению тема-рематической прогрессии, переводя существительное, стоящее в фокусе высказывания (реме), в так называемую «топикальную» (инициальную) позицию темы. Именно такое употребление определённого артикля в именной фразе предложения в «артиклевых» языках является сегодня нейтральным, а следовательно, ожидаемым. Подобные функции, вслед за Хомским (ср. Chomsky 1973: 74), можно рассматривать как отвечающие требованиям «нулевой» гипотезы, то есть того исходного предположения, что форма и (или) её функция являются регулярной, а потому ожидаемой в первую («нулевую») очередь. «Нулевыми» будут при этом и все связанные с данной или вытекающие из неё гипотезы, например, для нашего случая, фразовый акцент на имени в фокусе и его отсутствие на имени, стоящем в топикальной позиции: (einen) [...] SCHREIBTISCH — Tisch, ÄPFEL — (die) Äpfel; тематическая позиция подлежащего и рематическая — дополнения и т. п.

Теперь зададимся вопросом, что произойдёт при переносе имени с определённым артиклем в правую (рематическую, фокальную) часть высказывания. Если исходить из того, что функция маркирования темы — единственная функция определённого артикля, то нулевой будет гипотеза, налагающая запрет на рематическую позицию имени с определённым артиклем. Однако, как известно, такого запрета в «артиклевых» языках не существует. Следовательно, требуется либо сформулировать новую нулевую гипотезу, касающуюся закономерности функционирования существительного с определённым артиклем в конце предложения (то есть вывести новое системное правило), либо считать такую позицию исключением, обусловленным, скажем, прагматическими причинами. В современном языкознании вообще присутствует тенденция «прагматической» аргументации, когда логико-семантические

объяснения не лежат на поверхности, вместо того чтобы поискать их «поглубже». Конечно, и в наших примерах проще всего допустить, что говорящий ставит детерминированную фразу в конец высказывания в особых случаях, требующих её выделения в силу различных причин. Скажем, говорящий раздражён или же хочет донести до слушающего особую значимость данной части высказывания; слушающий туговат на ухо, и ему необходимо повторить фразу, снабдив фокус усиленным акцентом, и т. п. Бесспорно, такие причины возможны, но они не являются объяснением в строгом смысле, так как за ними не стоит необходимая для подобных случаев логическая схема, а таковая, вне всякого сомнения, здесь имеется.

Сравним два немецких предложения: (1) *Der Verkäufer wog Äpfel.* и (2) *Der Verkäufer wog die Äpfel.* Первое предложение объяснений не требует, так как имя с нулевым артиклем в реме соответствует «нулевой гипотезе». Но во втором предложении в рематической позиции оказывается имя, детерминированное артиклем. Очевидно, что во втором примере вполне допустимо нейтральное, эмоционально никак не окрашенное прочтение. Не менее очевидно, что между примером (1) и (2) существует различие. Но вот в чём оно состоит, объяснить без углублённого анализа непросто. Понятно, что во втором предложении речь идёт о так или иначе «определённых» яблоках, а не о яблоках «вообще», как в первом. Но как именно проявляется эта определённость в финальной позиции, на которую падает фразовый акцент? Зачем выделять акцентом то, что уже упоминалось раньше, сохраняя при этом нейтральную интонацию в целом? Ясно, что *тип* определённости в тематической и в рематической позиции не просто разный, а разный настолько, что само понятие «определённость», применяемое как к первому, так и ко второму случаю, в известной степени теряет смысл, превращаясь из термина в некую аморфную «наклейку», значение которой не вполне понятно. Одно дело, когда мы понимаем определённую как то, что вытекает из предшествующего упоминания, то есть то, что мы *уже знаем*, противопоставляемое тому, что мы слышим впервые и что именно по этой причине

стоит на конце предложения, разряжая «напряжённость ожидания» и неся на себе фразовый акцент. Совсем другое дело, когда мы, видя некую «определённость», обусловленную артиклем, не можем идентифицировать её источника и объяснить, почему определённая часть высказывания перемещается в его конец. Получается, что мы имеем дело с двумя «определённостями» одновременно — «определённостью» подлежащего, то есть известного нам продавца (*der Verkäufer*), соответствующей нулевой гипотезе (определённый артикль в теме высказывания), и другой, интуитивно ощущаемой, но очевидно требующей объяснения, «определённостью» дополнения (*die Äpfel*). Внешне нетипичное предложение с двумя «определёнными» фразами, тем не менее воспринимается как вполне обычное, нейтральное. В чём здесь дело? Проблема разрешается почти мгновенно, если перевести данные предложения, скажем, на русский язык или любой другой язык, обладающий видом «славянского» типа (грамматически выраженным в глаголе противопоставлением совершенного и несовершенного вида), но при этом не имеющим категории артикля. Пример (1) по-русски будет звучать как *Продавец взвешивал яблоки*, а пример (2) — как *Продавец взвесил яблоки*. Поскольку в русском языке нет артикля, в именной группе (дополнении) ничего не поменялось, но на уровне сказуемого появилось противопоставление глагола несовершенного и совершенного вида. Это проясняет природу «определённости» дополнения в немецком примере (2), которая в отличие от «тематической» определённости подлежащего является не явной, но скрытой грамматической функцией. Ввиду отсутствия в немецком языке категории глагольного вида, кодификация видовых противопоставлений переносится на другой синтаксический уровень — уровень зависимой от глагола именной группы (дополнения). Видовая детерминация получает своё специфическое оформление на уровне имени, а не глагола, то есть не прямо, а косвенно, скрыто.

Как это возможно? Очевидно, что при описании длящегося действия или процесса его объект, как правило, менее определён в самых разных смыслах, нежели в случае констатации

завершённости действия/процесса. В данном примере речь идёт прежде всего о противопоставлении неопределённости количества *взвешиваемых* яблок определённости количества яблок *взвешенных*. Однако количественный параметр, применимый в случае с яблоками, может оказаться нерелевантным при прочих объектах (скажем, осматриваемого/осмотренного пациента, читаемой/прочитанной книги и т. п.), то есть само по себе количество не может считаться достаточным или обязательным критерием определённости. Необходимо поэтому применить более общий, абстрактный критерий, включающий ряд параметров, релевантных в отношении самых разных глаголов и сочетаемых с ними имён. В литературе по данной проблематике обсуждаются разные предложения, самым точным и полным из которых представляется противопоставление «внешней» и «внутренней» перспективы высказывания, из которой говорящий представляет описываемое в нём событие (ср. Leiss 1992: 35; 4–47, Leiss 2002 (1): 10–13). Представляя событие из его внутренней перспективы, говорящий погружает себя в пространство и время рассказа, в силу чего описываемая реальность носит фрагментарный и «незавершённый» характер: продавец взвешивает товар, студентка читает учебник химии, школьники решают задачу, дети играют во дворе, горит дом и т. п., а тот, кто облачает эти события в словесную форму, пользуется формами языка, соответствующими его пребыванию «внутри» события. Из внешней перспективы говорящий видит и «озвучивает» те же события иначе: они предстают в завершённом виде и могут быть оценены в их целостном, неподделённом на фрагменты качестве: взвешенный товар в определённом количестве лежит на полке; прочитанная книга позволяет студентке без опасений идти на экзамен; задача решена школьниками успешно; дети, наигравшись во дворе, пошли домой; дом сгорел и т. п. Говорящий при этом смотрит на предметы и события как бы со стороны, что позволяет ему видеть и кодифицировать их целиком, в некоей обобщённо понимаемой «совокупности» составляющих элементов. При этом языковые средства выражения данного фундаментального противопоставления

ставления весьма разнообразны. Прототипическим, как и в других подобных случаях, является предикат, глагол. Именно поэтому категория глагольного вида является исконной, базовой. Но в языках, где её нет, эту же функцию выполняют иные формы, среди которых, в частности, выделяется артикль в именной группе в позиции ремы, то есть на конце высказывания.

Существует множество языковых средств, выражающих внутреннюю или внешнюю перспективу, из которой говорящий описывает событие, причём они могут выступать как по принципу дополнительной дистрибуции (взаимоисключения), так и кумулятивно (совместно). Так, в предложении *Игорь смотрел, как горит дом* пожар показан из внутренней перспективы говорящего, которая выражена, в частности, глаголом несовершенного вида и придаточным, вводимым подчинительным союзом *как*. Предложение **Игорь смотрел, что горит дом* грамматически неверное, поскольку подчинительный союз *что* всегда вводит придаточное в конструкции, представляющей события из внешней перспективы говорящего. В этом случае в матричном (главном) предложении должен стоять либо глагол совершенного вида, либо, если используется формально несовершенный вид глагола, должна допускаться его контекстуально обусловленная «завершённая» трактовка: *Игорь увидел, что горит дом; Игорь видел, что горит дом*. В обоих случаях длительное наблюдение за процессом горения исключается, поскольку констатируется факт, что *Игорь увидел пожар*. При этом можно сказать *Игорь видел, как горит дом*, но это предложение по своей семантике будет соответствовать предложению *Игорь смотрел / наблюдал, как горит дом*. Такая асимметрия в употреблении глаголов в приведённых высказываниях объясняется амбивалентностью глагола *видеть*, который может в зависимости от контекста означать как ‘смотреть’, так и ‘увидеть’. Однако во всех случаях никакой амбивалентности союзов *как* и *что*, вводящих придаточные, касательно «внутреннего» или «внешнего» прочтения гипотаксиса (сложноподчинённого предложения) в целом, нет. Это подтверждается однозначным

запретом на конструкции типа **Игорь смотрел / наблюдал, что / как окно открыто* и **Игорь видел / увидел, как окно открыто* при допустимости предложений типа *Игорь видел / увидел, что окно открыто*.

Запреты данного типа являются системно, органически обусловленными и проистекают непосредственно из «языкового модуля» познавательной способности человека. К искусственно создаваемым и «лелеемым» нормам они отношения не имеют хотя бы уже в силу того, что социально и культурно мотивированная норма всегда предполагает наличие вариантов, допускаемых системой, из которых производится так или иначе объясняемая селекция. Однако в «глубинной», «ядерной» грамматике, которая является (к сожалению, правда, не всегда) главным предметом интереса языковеда, действуют запреты совершенно иного рода. Варианты здесь блокируются или допускаются факторами, принадлежащими к пластам, которые ничего общего не имеют с произвольностью выбора; это жёсткие логические конструкции, сравнимые с правилами формальной логики или законами природы. Такие феномены есть не только в сфере синтаксиса, хотя там благодаря, в частности, исследованиям генеративистов и лингвистов, занимающихся теорией валентности и более широко понимаемой «грамматикой зависимостей», удалось получить наиболее впечатляющие результаты, малая часть которых вкратце представлена выше.

Чтобы продемонстрировать конгениальность онтогенеза и филогенеза в морфологии, обратимся к одному из наиболее сложных, но вместе с тем чрезвычайно интересных примеров — сильному и слабому спряжению глаголов в германских языках. Известно, что формы настоящего и прошедшего времени в германских языках исконно образовывались по двум моделям. Первая предполагает исторически системное чередование гласного звука в корне глагола (так называемый аблаут, или апофонию), напр. англ. *write* — *wrote*, нем. *schreibe* — *schrieb* ‘пишу’ — ‘писал’. Вторая образует формы прошедшего времени добавлением так называемого дентального (то есть образу-

ющегося с участием «зубного» согласного) суффикса к основе глагола, ср. англ. *paint* — *paint-ed*, нем. *mal-e* — *mal-te* ‘рисую’ — ‘рисовал’. Чередование по аблауту было системным и продуктивным в древнейшую эпоху развития германских языков, тогда как сегодня так называемые сильные глаголы образуют замкнутую группу, все члены которой должны изучаться не по модели, то есть не благодаря применению определённого системного правила, а как идиоматические единицы, путём простого запоминания. Слабые же глаголы, напротив, образуют формы прошедшего времени по системному правилу, что делает их продуктивной группой в том смысле, что она открыта новым образованиям. Скажем, все заимствования и вообще неологизмы (за исключением тех, что образуются путём прибавления приставки к уже имеющемуся сильному корню) автоматически спрягаются по слабой схеме. Помимо этого, в разряд слабых глаголов перешли и переходят сегодня многие бывшие сильные, тогда как обратный процесс, кроме некоторых курьёзных случаев, исключён. Иностранец, изучающий, скажем, английский или немецкий язык, должен поэтому учить формы сильных глаголов наизусть, отчего они часто именуется в грамматиках «неправильными», а в английском языке термин «неправильный глагол» (*irregular verb*) и вовсе окончательно закрепился как основной термин, вытеснив восходящий к Якобу Гримму термин «сильный глагол» (нем. *starkes Verb*, англ. *strong verb*). Слабые, или «правильные», глаголы усваиваются совершенно иначе, системно, исходя из правила, гласящего, что форма прошедшего времени образуется путём добавления к основе настоящего времени дентального суффикса. Такая же строгая система лежала в основе древнегерманской морфологии сильного глагола: чередование гласных (а в ряде случаев и следующих за ними согласных) регулировалось правилами аблаута и (в отношении определённых примыкающих согласных звуков) — законом Вернера. Все сильные глаголы принадлежали в рамках этой системы к одному из семи рядов аблаута и обнаруживали одну из ступеней аблаута в корневой морфеме (полную в огласовке краткого гласного, восходящего к индоев-

ропейскому *e*, полную в огласовке краткого индоевропейского *o*, нулевую либо продолженную). Каждая из ступеней характеризовала настоящее, прошедшее время глагола (отдельно — в единственном и множественном числе), а также форму страдательного причастия. Например, готский глагол четвёртого ряда аблаута *niman* ‘брать, взять’ в настоящем времени имел полную ступень в огласовке *e* (в готском языке «суженного» до *i*): *nima* ‘беру, возьму’ и т. д.; в прошедшем времени единственного числа — полную ступень в огласовке *o* (в германских языках соответствовавшего краткому гласному *a*): *nam* ‘брал, взял’ и т. д.; в прошедшем времени множественного числа — продолженную ступень (долгий \bar{e}): *nētum* ‘(мы) брали, взяли’ и т. д.; в форме страдательного причастия — нулевую ступень (в германских языках проявлявшуюся в виде краткого — «вставного» — *u*, сохранившегося в готском во всех подобных формах): *numans* ‘взятый’. Так образовывались все формы глаголов данного ряда, который определялся посредством двух системных правил — чередованием корневого гласного и типом следовавшего за ним согласного (в четвёртом ряду аблаута это должен был быть один из сонорных: *m, n, l, r*). Все остальные ряды аблаута определялись по своим жёстким правилам. Конечно, эти основные правила сопровождалось целым рядом вторичных, которые обуславливали некоторые особенности формообразования в каждом из рядов аблаута. Скажем, в готском языке гласные *i* и *u* перед тремя согласными, в частности, перед *r*, подвергались так называемому преломлению, то есть «понижались» до краткого *e* (на письме изображавшегося диграфом *ai*) и, соответственно, до краткого *o* (на письме изображавшегося диграфом *au*). Поэтому глагол этого же, четвёртого, класса *bairan* ‘носить, нести’ имел формы *baira — bar — bērum — baurans*. В древнеанглийском, древнесаксонском, древневерхненемецком и древнеисландском языках действовали свои фонетические законы, видоизменявшие временные формы сильных глаголов, но все они были настолько же системными, как сам аблаут.

В германских языках именно сильные глаголы были первичными, восходящими к собственно глагольным основам ин-

доевропейского праязыка, тогда как слабые глаголы были исконно производными либо от основ сильных глаголов, либо от основ существительных, прилагательных и других частей речи. Иными словами, сильные глаголы не могли изначально образовываться иначе как по системному правилу. Лишь впоследствии, когда развитие глагольной морфологии привело к глубокой перестройке типов морфологической кодификации их грамматических категорий (прежде всего категории времени и наклонения), сильные глаголы из исконных и правильных превратились в идиоматические и неправильные, которые изучаются как исключение из правила формообразования временных основ. Таков в общих чертах филогенез германских глагольных форм, выражающих временную отнесённость и связанные с ней категориальные функции (прежде всего наклонение).

Что мы видим в онтогенезе, то есть наблюдая за процессом освоения глагольных форм ребёнком в процессе изучения родного языка? Казалось бы, естественно предположить, что вначале осваиваются времена правильных глаголов, а затем методом проб и ошибок запоминаются временные формы глаголов неправильных, которые изначально образуются по логической схеме правильных глаголов, то есть с точки зрения языковой нормы ошибочно. Так и происходит, конечно, когда немецкий или английский язык изучает иностранец — неважно, ребёнок или взрослый. Зная, что глаголы по правилу образуют формы прошедшего времени путём добавления дентального суффикса, иностранец скорее всего образует форму **comed* 'пришёл' от английского *come* 'приходить' по аналогии с формой *worked* 'работал' от *work* 'работать' и т. п. Однако исследование речи английских детей дало прямо противоположный результат. Оказалось, что ребёнок-англичанин вначале осваивает именно неправильные, «сильные» формы типа *came* от *come*, которые заучиваются им наизусть, и лишь позднее открывает для себя системное правило, согласно которому можно образовывать временные формы глагола с помощью суффикса по модели *work-worked*, *live-lived*, *paint-painted* и т. п. Только после этого он начинает делать ошибки, применяя данное правило к непра-

вильным глаголам путём обобщения, притом что образование форм по сильному типу не обобщается на основе аналогии (ср. Bornkessel-Schlesewski/Schlesewski 2009: 47–48). Учёные по-разному трактуют данный феномен. Ниже будут рассмотрены различные подходы и предложено решение, основанное на сопоставлении филогенеза и онтогенеза, которое до сих пор, насколько нам известно, не предлагалось.

Начнём с того, что ответ на поставленный вопрос зависит от применяемой объяснительной стратегии. Нужно прежде всего понять, что именно мы хотим узнать или объяснить и что мы можем предполагать в качестве уже известного нам исходного материала. Знания, что образование морфологических форм регулируется некими правилами, оказывается явно недостаточно, поскольку нам неизвестно, как выглядят эти правила на уровне глубинной структуры языка, так что их определение является задачей лингвистики, причём, по-видимому, прежде всего нейролингвистики. В частности, неизвестно, что происходит при изучении ребёнком форм сильных глаголов: фиксация всех неправильных форм в тех областях неокортекса, которые отвечают за нерегулируемую правилами память, или же их порождение посредством глубинных правил, которые не являются для нас очевидными в отличие от правила добавления суффикса прошедшего времени к основе слабых глаголов. Первую гипотезу выдвинул Стивен Пинкер (ср. Pinker 1984). Если руководствоваться непосредственными данными нашего сознания и саморефлексией, она покажется нам, конечно, наиболее правдоподобной. Впрочем, забегая вперёд, отметим, что в упомянутой книге Пинкера, посвящённой взаимосвязи между изучением языка и его историей (то есть между онтогенезом и филогенезом), с учётом данных истории германских языков, ясно говорящих о систематичности рядов аблаута сильных глаголов, данная гипотеза является неожиданной. Альтернативный подход предложили в рамках генеративной фонологии Ноам Хомский и Моррис Халле, причём ещё до гипотезы Пинкера (ср. Chomsky/Halle 1968). Они рассматривают внутрикорневые чередования гласных в неправильных (искон-

но «сильных») глаголах как механизм, подчиняющийся вполне определённой правилу, а внутренний аффикс, отвечающий за кодификацию грамматического времени глагола, — как функциональный эквивалент внешнего аффикса (дентального суффикса) правильных (исконно «слабых») глаголов. В историческом плане последняя гипотеза является единственно доказуемой, однако остаётся нерешённым вопрос, в какой степени и в каком виде исконное правило образования временных основ германских сильных глаголов могло сохраниться в современных германских языках, где без углублённого изучения действие этого правила не может быть описано так, как мы совершенно без труда описываем действие правила образования форм простого прошедшего времени правильных глаголов. Именно поэтому Хомский и Халле осторожно говорят о возможности фиксации лишь некоей «субрегулярности» для неправильных глаголов: «Thus we can find a small «subregularity» in the class of irregular verbs by generalization of the Vowel Shift Rule to certain lax nonback vowels» (Chomsky/Halle 1968: 201)⁴.

Каков статус описанной «субрегулярности» с точки зрения взаимодействия филогенеза и онтогенеза? В упомянутой выше книге Ины Борнкессель-Шлезевской и Маттиаса Шлезевского (Bornkessel-Schlesewski/Schlesewski 2009) детально описаны нейрофизиологические (там же: 50–56) и «электрофизиологические» (там же: 57–66) механизмы формообразования регулярных и нерегулярных глагольных форм в английском и отчасти в немецком языках. В основу положены экспериментальные исследования как детей, так и взрослых носителей языка, в частности, с патологиями разных участков головного мозга, вызывающими различные виды афазии, — болезнью Паркинсона и болезнью Альцгеймера. Выводы ав-

4 «Итак, мы можем найти некоторую “субрегулярность” в классе нерегулярных глаголов путём обобщения Правила Сдвига Гласных на определённые гласные, не относящиеся к заднему ряду» (перевод с английского мой. — М. К.). Здесь не следует смешивать формулируемые правила сдвига гласных для современного английского языка с точки зрения универсальной генеративной фонологии, о которых пишут Хомский и Халле, с термином Великий Сдвиг Гласных, используемым применительно к истории английского языка.

торов относительно характера и механизмов деятельности нейронных цепей разных отделов неокортекса однозначно свидетельствуют о том, что формообразование по «регулярному» и «нерегулярному» типу имеет различную локализацию в головном мозге.

Насколько, однако, данный вывод можно считать удовлетворительным с точки зрения задач, стоящих собственно перед лингвистикой и, в частности, перед лингвистикой исторической, изучающей причины и механизмы языковых изменений? Очевидно, что в выстроенной цепи не хватает существенного звена — ответа на вопрос о том, как меняются правила морфологической кодификации глагольной категории времени. Без привлечения данных разных исторических этапов развития языка, а также данных языковой реконструкции тех эпох, которые не зафиксированы памятниками письменности, ответить на данный вопрос невозможно. Для нейролингвистики, психолингвистики, теории языковой аквизиции (приобретения языковых навыков ребёнком) и прочих областей, лежащих на пересечении языковедения и смежных областей знания, приведённые выше исследования имеют вполне самостоятельный интерес, а ответы на поставленные в рамках этих субдисциплин вопросы могут считаться исчерпывающими. Однако в «большой» лингвистике, в теории языка такой отрыв онтогенеза от филогенеза, сведение изучения динамики языковых процессов к эмпирически наблюдаемым процессам освоения языка отдельными, живущими ныне людьми, всегда будет ущербным вопреки уже упоминавшемуся тезису Д. Лайтфута (ср. Lightfoot 1991) о ненужности «музы Клио» для объяснения механизмов языковых изменений в силу якобы достаточности чисто онтогенетического подхода.

Обратимся поэтому к диахроническому аспекту проблемы, обнаруживающему целый ряд весьма непростых составляющих. В историческом языкознании общим местом является тезис, что систематизация чередования гласных в корне глагола по аблауту достигает в германских языках невиданного для прочих языков индоевропейской семьи уровня. «Системати-

ческое функционально-грамматическое использование аблаута» (СГГЯ I 1962: 41) является одной из главных особенностей германской группы языков, отличающих их от остальных индоевропейских языков. Это не значит, конечно, что аблаут как таковой представляет собой германскую инновацию. Чередование по аблауту пронизывает все индоевропейские языки, причём касается не только чередования гласных в корне глагольных форм, но и основообразующих суффиксов, окончаний, а также широко используется в словообразовании (ср. СГГЯ II 1962: 221–223). Например, в русских формах типа *ведёт — водит, умереть — мор, вода — ведро* присутствует чередование по аблауту, восходящее к древнейшим индоевропейским пластам. Однако в отличие от славянских, романских, кельтских языков, языков индо-иранской группы и всех остальных негерманских языков индоевропейской семьи все такие чередования никак не систематизированы, выступают спонтанно и не являются индикаторами замкнутых морфологических классов. Тем не менее в некоторых индоевропейских языках наряду с типичными индикаторами грамматических форм глагола — суффиксами и личными окончаниями — спонтанно выступает чередование гласных по аблауту в корневой морфеме. Например, древнегреческий глагол со значением ‘покидать, оставлять’ в первом лице единственного числа настоящего времени (презенса) имеет так называемую полную, или нормальную, степень корневого гласного в огласовке *e* (краткий): *λείπω* (*léipō*) ‘ухожу’. Форма перфекта этого глагола образуется путём редупликации в сочетании с аблаутом и перфектным окончанием, причём корневой гласный принимает огласовку *o* той же количественной (полной) степени: *λε-λοιπα* (*le-lōipa*) ‘ушёл (= меня здесь больше нет)’. Третья видо-временная форма — аорист — образуется путём добавления аугмента *e*, так называемой нулевой степени аблаута в корневой морфеме (то есть гласный, стоящий перед *i*, выпадает) и окончания аориста: *ἔ-λιπόν* (*e-lipón*) ‘ушёл (= покинул это место, перейдя в другое)’. Происхождение аблаута объясняется прежде всего фонетическими причинами, а именно акцентным рисунком слова, сме-

на которого в соответствующих формах ведёт к выпадению или редукции гласного (так называемому количественному аблауту), а также, по-видимому, влияет на изменение огласовки при сохранении ступени длительности (так называемый качественный аблаут). Таким образом, в чередовании *léip — lóip — lip* рассматриваемого древнегреческого глагола выступает как качественный, так и количественный аблаут, и, если бы подобные формы в этом языке регулярно маркировали соответствующие видо-временные категории, можно было бы говорить о морфологической функции аблаута в древнегреческом, подобно тому, как мы говорим о ней в германских языках. Однако такие чередования в древнегреческом и прочих индоевропейских языках (кроме германских) появляются лишь спорадически. При этом следует отметить, что аблаут — универсальное, а не только индоевропейское явление и, скажем, в семитских языках систематизирован не меньше, чем в германских, а, например, в финно-угорских, наоборот, выступает лишь спорадически, как, например, в славянских или в греческом (ср. Prokosch 1939: § 44, Прокош 1954: 119). Причины возникновения и механизмы действия аблаута до сих пор изучены недостаточно, а различные теории, объясняющие аблаут либо как чисто фонетический, либо как преимущественно фонеморфологический феномен, остаются во многом лишь фрагментарными. Здесь данный вопрос не может получить даже минимального освещения, однако обращение к функции аблаута как маркера видо-временных категорий глагола необходимо, как уже говорилось, в связи с поставленной выше проблемой взаимодействия онтогенеза и филогенеза в языке.

Приведённый выше частный пример того, как аблаут, пусть спорадически, проявляется при маркировании форм древнегреческого глагола, косвенно свидетельствует о том, что его истоки именно как морфологического или морфологически осмысленного на каком-то очень раннем этапе развития языка чередования гласных относятся к древнейшим пластам истории естественных языков. Возможно, уже в праиндоевропейском языке эпохи неолита (то есть около семи тысяч лет назад)

аблаут использовался как грамматическое средство маркирования видов глагола, развившихся впоследствии в систему видов и времён в отдельных индоевропейских языках. В германских языках, таким образом, возможно, происходит не столько систематизация спорадического индоевропейского аблаута, сколько закрепление его исконной функции морфологического маркера, тогда как в прочих языковых группах аблаут постепенно утрачивает первоначально свойственную ему регулярность и вытесняется на периферию языковой системы, замещаясь другими типами кодификации категориальных функций глагола — суффиксами и флексией (окончаниями).

Обратимся теперь к соотношению так называемого сильного и так называемого слабого спряжения германских глаголов с точки зрения относительной хронологии их возникновения. Известно, что не только систематизация аблаута, но и возникновение слабого спряжения глаголов является германской инновацией. Использование дентального суффикса (о его происхождении существует ряд гипотез, которые здесь не рассматриваются)⁵ в качестве универсального маркера прошедшего времени (претерита) германских глаголов ограничено германским языковым ареалом и в отличие от аблаута не имеет аналогов в более древние периоды реконструируемой истории индоевропейских языков. В прагерманском языке согласный звук данного суффикса имел форму **-d̥*, возникшую в результате так называемого первого (или общегерманского) передвижния согласных из индоевропейского **-dh*. В отдельных германских древних и новых языках этот звонкий спирант приобрёл качество смычного *-d*, а в верхненемецких диалектах и в современном немецком языке получил форму глухого смычного *-t* в результате так называемого второго (или верхненемецкого) передвижения согласных, ср. англ. *work-ed* ‘работал’, *paint-ed* ‘рисовал’, *smile-d* ‘улыбался’; нем. *mach-te* ‘делал’, *mal-te* ‘рисовал’, *lach-te* ‘смеялся’ и т. п.

5 Литература по данному вопросу весьма обширна. Значительная её часть, приводится, наряду с собственной гипотезой автора, в моей работе (Kotin 2001).

Таким образом, совершенно очевидно, что слабые глаголы возникли в германском языке позднее сильных. Более того, сильные глаголы представляют собой в подавляющем большинстве первичные глагольные основы, тогда как слабые являются производными либо от основ сильных глаголов (как, например, в парах типа нем. *sitzen* ‘сидеть’ — *setzen* ‘посадить’, *stehen* ‘стоять’ — *stellen* ‘поставить’, *liegen* ‘лежать’ — *legen* ‘положить’, *fahren* ‘ехать’ — *führen* ‘вести’ и т. п., где первый — сильный — глагол является более древним, а второй — слабый — производным от него), либо от основ существительных, прилагательных и других частей речи (ср. нем. *Arbeit* ‘работа, труд’ > *arbeiten* ‘работать, трудиться’, *Land* ‘земля’ > *landen* ‘приземляться’, *tot* ‘мёртвый’ > *töten* ‘убивать’ и т. д.)⁶. Чередование по аблауту в прагерманском языке было, как позволяет судить материал письменно засвидетельствованных древнегерманских языков, настолько же системным и регулируемым правилами, как и образование и спряжение слабых глаголов, причём первая («аблаутная») система намного старше второй («суффиксальной») и регулирует образование основ граммати-

- 6 Концепция и объём настоящей книги исключают подробное рассмотрение моделей словопроизводства и типов древнегерманских слабых глаголов. Ограничимся здесь самыми общими замечаниями. Слабые глаголы образовывались с помощью специальных суффиксов. В готском языке, отражающем, по-видимому, древнейшее состояние, таких суффиксов было четыре, в прочих древнегерманских языках — по три. Соответственно слабые глаголы подразделялись на четыре или на три класса. Основа слабого глагола, производного от сильного, восходит к основе *прошедшего* времени сильного глагола, а его собственное прошедшее время образуется путём добавления дентально-го суффикса. Например, готский слабый глагол 1-го класса *nasjan* ‘спасать’ возник путём добавления суффикса *-ja(n)* к основе претерита *nas-* сильного глагола пятого ряда аблаута (*ga)nisan* ‘убежать, спастись’. Формы его прошедшего времени образуются путём прибавления суффикса *-da-* (во множ. числе *-ded-*), содержащего дентальный согласный, к которому добавляются личные окончания (в том числе нулевое): *nas-i-da-* ‘(я, он) спас’ — *nas-i-ded-un* ‘(они) спасли’ и т. д. (элемент *-i-* является «остатком» суффикса слабых глаголов 1-го класса *-ja(n)*). Слабые глаголы, восходящие к именным основам, образуются без изменения корневого гласного путём добавления соответствующих (характеризующих класс слабых глаголов) суффиксов. Скажем, готские приставочные слабые глаголы 1-го класса *ga-dauþ-jan* и *af-dauþ-jan* ‘убивать’ образованы от прилагательного *dauþs* ‘мёртвый’.

ческой категории времени первичных, непроеизводных глаголов, тогда как вторая регулирует образование основ грамматического времени вторичных, производных глаголов, которые именно поэтому и были названы классиком сравнительно-исторического языкознания Якобом Гриммом слабыми.

Вернёмся теперь к данным, касающимся онтогенеза, а именно к ключевому выводу о том, что ребёнок, усваивающий германский (в данном случае английский) язык как родной, вначале учится образовывать временные формы глаголов неправильного (сильного) спряжения и лишь затем — правильного (слабого), причём обобщение правила по аналогии касается только распространения слабого спряжения на сильное, но не наоборот. Оставаясь в рамках наблюдений над изучением глагольной морфологии в её современном состоянии, мы, конечно, можем сделать ряд существенных выводов касательно причин именно такой последовательности в усвоении ребёнком глагольных форм. Например, мы можем по-разному трактовать механизм этого процесса: (а) как «досистемное» заучивание отдельных глагольных форм, на которое затем налагается новая система, что вызывает, в частности, интерференцию с уже приобретённым ранее «несистемным» навыком, либо (б) как реализацию скрытого в глубинной структуре языкового модуля мозга правила чередования гласных в глагольной основе сильных («неправильных») глаголов, формулировка которого в отличие от однозначного и понятного правила образования прошедшего времени слабых («правильных») глаголов требует усилий учёного-лингвиста. Однако все подобные объяснения будут недостаточными. Лишь обратившись к фактам истории языков и выводам языковой реконструкции, мы можем выдвинуть действительно существенный в языковедческом плане тезис, претендующий на полноту охвата проблемы. Сопоставляя онтогенез и филогенез, мы видим их ясную конгениальность, которая не сводится, однако, к механическому повторению, что оправдывало бы изгнание «музы Клио» из теории языковых изменений. Исконность чередования по аблауту при формировании парадигмы спряжения первичных глагольных основ полу-

чает подтверждение в эксперименте, который был описан выше. Исторически вторичные глаголы, образующие временные формы при помощи добавления к их основе суффиксальных элементов, создают вторую систему правил, которая со временем становится доминирующей и оказывает индуцирующее воздействие на архаическую систему «сильного» формообразования. По той же схеме, по которой ребёнок, усвоивший систему спряжения слабых глаголов, образует форму прошедшего времени **com-ed* от глагольной основы *come*, происходит «легализация» подобной ошибки при переходе бывших сильных глаголов вроде нем. *fragen* ‘спрашивать’, *pflügen* ‘заботиться, ухаживать’ в разряд слабых. При этом переход слабых глаголов в разряд сильных не происходит по той же причине, по которой ребёнок, будучи обучен схеме образования прошедшего времени правильных глаголов, не образует эти формы путём чередования гласного в корне. Таким образом действует принцип языковых изменений, согласно которому ошибки сегодняшнего дня становятся нормами дня завтрашнего. Однако самым интересным является не — вполне тривиальное — замещение единичности системностью, а парадоксальное *предшествование* скрытой, «невидимой» системности на начальном этапе овладения морфологией глагола. В нём проступает некий универсальный механизм, позволяющий выдвинуть гипотезу об исконной морфологической функции чередования гласных в основе глаголов, с помощью которого проводилось разграничение вначале глагольных видов, а впоследствии и времён. Замещение этого механизма суффиксацией, добавлением формантов к (фонетически уже неизменной, стабильной) основе не изменило того факта, что исконный механизм каким-то удивительным образом сохранился в «генетической памяти» человеческого мозга, который поначалу воспринимает именно неправильные формы как правильные или же генерирует это глубинное, невидимое правило каждый раз заново, на базе неких универсальных закономерностей. Понятно, что данные выводы ограничиваются германскими языками, однако в этом нет ничего необычного, поскольку именно в этих языках сохранились глаголы обоих

типов спряжения и одновременно действуют архаичная, непрозрачная, «законсервированная», но при этом «живая», и новая, прозрачная, выстроенная по принципиально иной аналогии, система.

Попытаемся теперь объединить вопросы категориальной конвергентности при доминирующей идее первичности глагольного вида в последовательном развёртывании категорий времени, склонения, определённости/неопределённости и других в процессе развития языков и вопросы глагольной морфологии, в частности морфологических форм, кодирующих временную отнесённость. Гипотеза Якобсона — Гийома, уже упоминавшаяся выше, исходит из того, что именно глагольный вид был первичной, прототипической категориальной функцией глагола в индоевропейских языках, а возможно, и в языках других языковых семей. В трудах ряда исследователей (ср., среди прочих, Comrie 1976; 1985, Bach 1981, Leiss 1992; 2000; 2002) эта идея была развита применительно к типологическому и историческому изучению языков. Бернард Комри (Comrie 1976: 3) определяет глагольные виды (aspects) как «different ways of viewing the internal temporal constituency of a situation», то есть разные способы представления временной отнесённости ситуации. Элизабет Лайсс (1992: 47) расширяет данное определение, исключая из него «временную составляющую», и предлагает, вслед за Эммоном Бахом (Bach 1981), ограничиться при определении видов глагола признаками длительности/недлительности или делимости/неделимости выражаемого глаголом события на отрезки (части). Скажем, глагол *искать* выражает длительное действие, каждая фаза которого повторяет предшествующую, тогда как глагол *найти* по своей видовой семантике неделим. Выше уже описывалась такая концепция, основанная на противопоставлении «внешней» и «внутренней» перспективы кодификации говорящим описываемых событий. Внешняя перспектива обладает, как было показано, признаками целостного представления события, описываемого говорящим со стороны, с известной дистанции, что позволяет ему, в частности, использовать языковые формы, выражающие завершённость,

полноту, неделимость, определённую (совершенный вид глагола, преимущественно «недлительные» грамматические времена, «корневые», деонтические модальные формы, определённый артикль, типично предельные синтаксические конструкции и т.д.). Внутренняя перспектива размещает говорящего внутри события, в силу чего он видит его не в целостном образе, а «по частям», как нечто длящееся, ещё не завершённое, а потому в известном смысле неопределённое. Индикаторами внутренней перспективы высказывания являются несовершенный вид глагола, «длительные» грамматические времена, «некорневые», эпистемические модальные формы, неопределённый артикль, типично неопредельные синтаксические конструкции и т.д.

Сразу оговоримся, что в задачи данной книги не входит подробное рассмотрение теории глагольного вида, по которой написано огромное число трудов, в том числе фундаментального свойства, и ведётся оживлённая дискуссия практически по всем аспектам данной проблемы. Нас интересует исключительно вопрос о месте видовых противопоставлений в историческом развитии языков в сопоставлении с другими грамматическими категориями, причём не только глагольными, но и отчасти именными. Поэтому ни в коем случае нельзя смешивать принятую здесь общую, универсальную модель развития грамматик самых разных языков с частными системами, содержащими грамматическую категорию глагольного вида, например со славянскими языками и вообще языками, обладающими так называемым *Slavic-style aspect* (видом славянского типа) (ср. Dahl 1985: 85, Eckhof/Haug 2015: 191). По этой же причине мы сознательно не проводим здесь существенного для исследований иного профиля разграничения между так называемым *viewpoint aspect* (то есть строго грамматическим видом, свойственным системам типа славянских, ср. рус. *делать* — *сделать*) и так называемым *lexical aspect* (то есть «лексическим видом», или видовой семантикой глаголов, выражающих категориальное противопоставление предельно-

сти — неопределённости глагольного действия)⁷ (ср. Comrie 1976, Маслов 1959; 1984, Klein 1994; 1995). Говоря о видовых характеристиках глагола и — шире — высказывания, мы имеем в виду, вслед за Хансом-Вернером Эромсом (ср. Emonds 1997: 16), дихотомическую классификацию обозначаемого события, в которую вполне могут быть включены также противопоставления соответствующих способов действия вне их прямого отнесения к «славянскому видовому шаблону». В целом следует отметить, что с точки зрения универсальной грамматики естественных языков попытки найти некий «идеальный» язык или группу языков, содержащие ту или иную грамматическую категорию, так сказать, в «чистом» виде, чтобы впоследствии измерять ею сходные, но не столь чётко выраженные формы кодификации данной функции в других языках, на поверку зачастую лишь затемняют картину. Так, некоторые типологи, наоборот, считают именно славянский глагольный вид в высшей мере специфическим и, более того, типологически необычным, отклоняющимся от «классического» глагольного вида в тех языках, которые, подобно славянским, регулярно, морфологическими средствами выражают достижение границы события (ср. Bybee/Dahl 1989: 86). Приводятся три основания для такого вывода: (1) относительная независимость «славянского» вида от категории временной отнесённости⁸; (2) деривационный, а не флективный характер кодификации глагольного вида (то есть

7 В аспектологии используется также термин «способы глагольного действия» — перевод немецкого термина *Aktionsarten*, который был введён ещё в XIX в. Данное понятие вначале было синонимом глагольного вида. Именно так его использует в своей классической статье о видах готского глагола В. Штрайтберг (Streitberg 1891), имея в виду противопоставление совершенного и несовершенного вида. Впоследствии данный термин стал обозначать категориальные противопоставления лексического характера (предельность — неопределённость, длительность — результиративность и т. д.) в отличие от грамматического глагольного вида (нем. *Aspekt*).

8 Данное утверждение, впрочем, едва ли можно считать безупречным. «Относительность» независимости вида от времени в славянских языках придётся в этом случае трактовать чрезвычайно широко. Достаточно указать на асимметрию грамматических времён глаголов совершенного и несовершенного вида (ср. рус. *сделаю — сделал vs. делал — делаю — буду делать*), чтобы даже «относительную» независимость вида от времени поставить под сомнение.

его формальное выражение прежде всего посредством приставок)⁹ и (3) тесная взаимосвязь между совершенным видом и лексической категорией предельности, отсутствующая в «классических» языках, обладающих категорией вида (ср. Dahl 1985: 84–85). Здесь снова возникает та же проблема: чем обоснована увязка видовой функции с приведёнными критериями? По нашему мнению, спор о критериях «классического» грамматического вида не может быть разрешён без установления максимально абстрактного интеграла видовой функции, как это сделала, например, Лайсс (ср. Leiss 1992: 47), предложив исходить из оппозиции внутренней и внешней перспективы, из которых говорящий представляет описываемое событие, причём форме кодификации данной базовой функции должна изначально отводиться вторичная, подчинённая роль, а реализация видовой функции должна оцениваться не только (и не столько) на уровне кодификации грамматических форм отдельных слов, сколько на уровне целостного высказывания.

Если принять гипотезу о первичности вида в филогенезе, а сам вид при этом определить в рамках универсально-грамматического подхода предельно обобщённо, то прототипическим категориальным противопоставлением оказывается противопоставление внешней и внутренней перспективы высказывания, а наиболее типичной формой его выражения — грамматическая категория глагольного вида, которая наиболее ёмко и однозначно кодифицирует данную элементарную оппозицию. Все же прочие грамматические категории (времена, наклонения, модальные глаголы, наречия и частицы, артикль, падежи, синтаксические конструкции и проч.) содержат данную

9 Способ формальной кодификации грамматической категории, безусловно, важен по ряду причин. Скажем, префиксация по сравнению с суффиксацией и, тем более, по сравнению с флексией, обуславливает большую «лексичность» выражаемой категориальной функции, поскольку приставка имеет выраженную тенденцию к модификации лексической семантики глагола (ср. Ярцева 1968b: 30). Однако в целом данная проблема связана с зависимостью типов кодификации категориальных функций от строя языка, а потому не может считаться универсальным критерием маркирования вида; в противном случае пришлось бы сделать совершенно необоснованный вывод о *заведомо* большей «грамматичности» категории вида в языках флективного строя.

функцию лишь скрыто, имплицитно, наряду с теми специфическими функциями, которые они исполняют, так сказать, «на поверхности» грамматической системы. С точки зрения языкового развития, являющейся центральной для нашего настоящего исследования, логично предположить, что именно видовые противопоставления стояли у истоков грамматической системы, а учитывая прямую связь филогенеза с онтогенезом, — что при освоении языка на самом первом этапе ребёнок усваивает именно те грамматические структуры, которые непосредственно отвечают за выражение оппозиции внешней и внутренней перспективы описания событий. Помимо этого, следует предположить, что те языки, которые в процессе своего развития утрачивают грамматическую категорию глагольного вида, образуют новые грамматические формы, несущие в себе — но уже не в явном, а в скрытом виде — следы исконного противопоставления внешней и внутренней перспективы. Именно данный тезис выдвигает в своих работах Э. Лайсс (ср. Leiss 2002: 9–12). Вид в самом широком его понимании образует начальное звено в цепи развития грамматических систем и сообщает всем последующим звеньям свои сущностные признаки. Выше уже приводились примеры того, как может быть описано подобное развитие в онтогенезе и в филогенезе. Оказывается, что каждая вновь возникающая глагольная (а отчасти также именная) категория так или иначе несёт в себе признаки видовой семантики, причём можно с высокой степенью достоверности постулировать возникновение категории времени после вида, а модальности в самом широком смысле — после временной отнесённости. Более того, возникновение категории именной детерминированности (артиклевой функции) характерно в первую очередь для языков, утрачивающих грамматический глагольный вид, функция которого отчасти переходит к приименному артиклю (ср. Leiss 2000; 2002), о чём уже упоминалось.

Вернёмся теперь к описанным сильным глаголам германских языков, которые образуют временные формы путём чередования гласных в корне (аблаута). Выше было показано,

что именно сильные глаголы восходят к первичным индоевропейским глагольным основам, в которых во всех без исключения исторических грамматиках реконструируется аблаут. Скажем, готский глагол *gabairan* ‘рождать’ и его соответствия в других германских языках (двн. *(gi)beran* ‘нести’, ‘рождать’, нвн. *gebären* ‘рождать’, англ. *to bear* ‘нести’, ‘рождать’) восходит к индоевропейской глагольной основе, реконструируемой как **bher-/*bhor-/*bhēr-/*bh̥ar(ə)* ‘несу’¹⁰ и представленной, в частности, глаголами *bhārami* ‘я несус’ в санскрите, *fero* ‘я несус’ в латинском языке и т. д. Как видим, реконструкция содержит обязательное чередование по аблауту в корневой морфеме, которое в данном случае отвечает закономерностям распределения ступеней аблаута (полной в огласовках *e* и *o*, продолженной и нулевой), характерного для сильных германских глаголов IV класса, ср. гот. *gabairan* — *gabar* — *gabērun* — *gabaurans*, двн. *(gi)beran* — *gibar* — *gibârun* — *giboran*, нвн. *gebären* — *gebar* — *geboren*, англ. *bear* — *bore* — *born* и т. д.¹¹ Таким образом, реконструируя исконную глагольную основу с чередованием, историки языка исходят как бы по умолчанию из того, что германские языки не столько по-новому систематизируют и переосмысливают первично спонтанные и нерегулярные чередования гласных для обозначения глагольных форм, сколько в какой-то степени сохраняют, консервируют ту древнейшую функцию формообразования, что выполнял аблаут на этапе индоевропейской общности. Впоследствии в других языках аблаут в данной функции был полностью или по большей части вытеснен внешними

10 Здесь представлена обычная реконструкция, не учитывающая данных ларингальной теории (ср. Klingenschmitt 1982, Beekes 1984, McCone 1991, Meier-Brügger 2002), в соответствии с которой ступени аблаута обозначаются иначе. Детальная дискуссия по данному вопросу выходит далеко за рамки задач, стоящих перед настоящей книгой.

11 В древнегерманских языках глаголы имели четыре основы — презенса (представленную также в инфинитиве), претерита единственного числа, претерита множественного числа и страдательного причастия. Каждая из основ сильного глагола, в зависимости от ряда аблаута, к которому он принадлежал, имела свою огласовку, согласно чередованию по аблауту. В современных германских языках в результате унификации основы претерита единственного и множественного числа основных форм стало три.

маркерами, добавляемыми к глагольной основе (суффиксами и окончаниями).

Какие же именно функции первично выполнял корневой глагольный аблаут? Очевидно, что речь может идти здесь прежде всего о функции кодификации видовых противопоставлений, то есть, согласно данному выше общему определению глагольного вида, о выражении оппозиции завершённости и незавершённости, полноты и неполноты как основного показателя противопоставления внешней и внутренней перспективы высказывания с точки зрения говорящего. Известно, что, например, полная ступень аблаута в огласовке *e* выражала первоначально дпящееся действие (ср. древнегреч. презенс *λείπω* (*leirō*) ‘я ухожу’), полная ступень в огласовке *o* — состояние, возникшее в результате завершения действия (древнегреч. перфект *λε-λοίπα* (*le-loipa*) ‘я ушёл, меня здесь больше нет’), а нулевая ступень — завершённое действие в прошедшем с акцентом не на состоянии, а на самом действии (древнегреч. аорист *ἔ-λιπόν* (*e-lipon*) ‘я ушёл (откуда-то и пошёл куда-то)’). Таким образом, первоначальное противопоставление протоиндоевропейского презенса (с характерной для него ступенью *e*), перфекта (с характерной ступенью *o*) и аориста (маркируемого нулевой ступенью) было прежде всего видовой и идущей с ней в паре залоговой оппозицией, поскольку, как показано исследователями, видовые категории прямо пересекались в индоевропейском праязыке с залоговыми (ср., среди прочих, Stang 1932, Kuryłowicz 1964, Neu 1968, Watkins 1969, Красухин 1987). Последнее становится понятным, если сравнить описание состояния как результата предшествующего действия с описанием самого действия с точки зрения внешней и внутренней перспективы говорящего. Описание состояния, к которому привело завершённое действие, в известном смысле внеположено действию, лишь опосредовано им. Такое описание предполагает внешнюю перспективу говорящего, абстрагированную от действия как такового, за которым говорящий не наблюдает, а лишь фиксирует, что состояние возникло в результате действия, однако в фокусе внимания находится

при этом уже не действие, но состояние и его возможные следствия. Скажем, если я говорю, что прочитал чьё-то письмо, то формально имею в виду, конечно, завершённость действия, но фактически просто констатирую, что мне известно содержание письма. Когда Евгений Онегин говорит Татьяне: «вы ко мне *писали*, Не отпирайтесь. Я *прочёл* [...]» (глава 4, строфа XII), он вовсе не противопоставляет несовершенный вид (*писали* вместо *написали*) совершенному, а всю ситуацию в целом представляет как известное состояние. Татьяна *написала* письмо, Онегин его *прочитал*, и теперь ему известно, что она его любит. Данное новое состояние как результат двух завершённых событий (написания письма Татьяной и его прочтения Онегиным) является отправной точкой для последовавшего объяснения персонажей. Таким образом, само объяснение подаётся из внутренней перспективы автора, как бы участвующего в разговоре своих героев, тогда как предпосылки этого разговора представлены из внешней перспективы и соединяют в себе результат и состояние. Ничего бы не поменялось по смыслу, если бы Онегин сказал «вы мне *написали*, Не отпирайтесь, я *читал*», поскольку контекстуальное прочтение глагольных форм исключает интерпретацию обоих действий как длительность, незавершённость. Если бы в русском языке существовала грамматическая категория аориста или перфекта, то использование простого прошедшего времени (*писали*) вообще едва ли было бы возможным. Аналогично, например, в немецком языке, где наряду с претеритом имеется форма перфекта как одного из грамматических времён, используемых, главным образом, для обозначения событий, имевших место в прошлом, в данном случае невозможно представить себе использование формы претерита (*schrieben*) вместо перфекта (*haben geschrieben*). Немецкий переводчик Т. Коммихау (Th. Commichau) использует здесь поэтому именно перфект: «Sie haben mir geschrieben» (<http://www.zeno.org/nid/20005508088>, просмотрено 03.03.2018).

Возможности выражения грамматической видовой функции (viewpoint aspect) независимо от лексической семантики глагола хорошо видны на примере первой строки «Одиссеи»

Гомера (I, 1–2), где используется форма аориста неопределённого глагола со значением ‘путешествовать, странствовать, скитаться’, получающего, несмотря на свою семантику, «предельное» осмысление, соответствующее *внешней перспективе* высказывания:

ἄνδρα μοι ἔννεπε, μοῦσα, πολύτροπον, ὃς μάλα πολλὰ πλάγχθη, ἐπεὶ
Τροίης ἱερὸν πτολίεθρον ἔτερσεν.

«Воспой мне, о Муза, мужа многоопытного, который *долго странствовал* с тех пор, как разрушил священную Трою».

Очевидно, что здесь выражена не столько длительность события, сколько завершённость, ограниченность определёнными временными рамками (Одиссей долгое время *провёл в путешествии*).

Индоевропейцы реконструируют праиндоевропейский как язык, в котором, по-видимому, вовсе отсутствовала категория грамматического времени глагола, а первоначально имелась лишь категория вида или, точнее, вида-залога (ср. Stang 1932, Kuryłowicz 1964): противопоставлялось значение актива-презенса (то есть одновременно действительного залога и несовершенного вида) и пассива-перфекта (одновременно страдательного или, скорее, так называемого среднего залога и совершенного вида). Данные синтетические категории выражали, согласно разделяемому здесь подходу к истокам и сути глагольного вида, соответственно, внутреннюю и внешнюю перспективу говорящего. Первоначальной формой кодификации данной базовой оппозиции был, по-видимому, аблаут, чередование гласных в основе глаголов. Если это действительно так, то выстраивается вся цепочка грамматических изменений, которую проходят языки германской группы. В этих последних происходит не просто систематизация аблаута и построение системы формообразования сильных (то есть первичных) глаголов, но и одновременное переосмысление видовых показателей как формантов времени и наклонения. Так, полная ступень в огласовке *e*, первоначально бывшая видовым пока-

зателем незавершённости, становится маркером настоящего времени; полная ступень в огласовке *o*, кодировавшая завершённое состояние, переходит в разряд грамматических показателей претерита (прошедшего времени) единственного числа; нулевая ступень, кодировавшая аорист, маркирует претерит множественного числа и оба числа сослагательного наклонения. Продолженная ступень чаще всего выступает как функциональный эквивалент нулевой. Впоследствии в германских языках возникает новая модель маркирования времени, уже не восходящая к индоевропейским видовым показателям, — система так называемых слабых глаголов, образующих основы прошедшего времени посредством так называемого дентального суффикса, о чём также уже говорилось выше.

Возвращаясь к приведённым данным относительно последовательности освоения форм сильных и слабых глаголов в процессе изучения родного языка ребёнком (на материале английского языка), мы получаем практически безупречную картину конгениальности филогенеза и онтогенеза. Становится понятным (хотя и не так просто объяснимым) парадокс первоначального освоения форм неправильных (сильных) глаголов, образуемых путём аблаута, хотя, казалось бы, регулярная, основанная на системных правилах схема формообразования слабых глаголов должна превалировать. Системные правила, лежащие на поверхности, входят здесь в сложное взаимодействие с на первый взгляд асистемным, идиоматичным типом образования временных форм сильных глаголов, который при ближайшем рассмотрении оказывается регулируемым глубинными, не регистрируемыми на поверхности правилами генерирования, заложенными в самой сердцевине языковой системы и, по всей вероятности, сохраняющими свою действенность путём их активации в нейронных сетях мозга множества поколений носителей языка. Таким образом, мы имеем дело с генетически передаваемым механизмом формообразования, восходящим к древнейшим, исконным моделям. Здесь напрашивается прямая аналогия с описанным выше феноменом ремотивации, в частности, «оживления» мёртвых метафор

и метонимий. Хотя наш мозг, в частности, его рефлексивные способности и возможности памяти, по-прежнему малоизучены, одновременное исследование языковых феноменов подобного рода в онтогенезе и филогенезе позволяет произвести столь полную и наглядную реконструкцию исконных и производных от них механизмов функционирования языка и языковых изменений, что можно с уверенностью говорить о наличии у лингвистов необычайно эффективного инструментария для самого глубокого изучения человеческого языка. Единственным условием для этого является, впрочем, осознание подлинных задач лингвистической науки, отход от чисто описательного принципа презентации разрозненных языковых фактов (сколь соблазнительным ни казалось бы желание охвата и простой фиксации огромного языкового материала) и переход к «объяснительной» стратегии как при изучении отдельных языков, так и в сопоставительном и историческом аспектах.

Как контакты между языками влияют на их развитие?

Языковые контакты называются в литературе по историческому языкознанию одной из главных причин языковых изменений. Очевидно, что словарь родного языка постоянно пополняется за счёт заимствований из иностранных языков, находящихся с ним как в прямых, так и в опосредованных связях, то есть как в результате контактов между людьми в областях совместного проживания, так и в силу взаимовлияния языков через печатные тексты, целенаправленное изучение иностранных языков, а в новейшее время — также через электронные средства массовой коммуникации. Помимо словаря, в котором чрезвычайно сложно (хотя, как было показано в предшествующих разделах, всё же возможно) установить причины принятия или отторжения того или иного заимствования, языки влияют друг на друга в гораздо более системных сферах — морфологии, синтаксисе и даже фонетике и фонологии.

Вопрос о сути и механизмах влияния языковых контактов на происходящие в языках изменения чрезвычайно сложен и затрагивает центральные для теории языка аспекты его функционирования и исторического развития. Однако из-за уже обсуждавшегося в этой книге парадокса размытости предмета исследования в силу его непосредственной близости к исследователю (мы изучаем язык как объект, пользуясь им же как инструментом описания самого себя) нам сложно осознать

сложность и нетривиальность проблемы. Нам кажется вполне естественным и не требующим объяснений факт взаимовлияния языков. Напротив, нас скорее насторожило бы отсутствие последствий контактов носителей разных языков. Но кажущаяся «естественность» в данном случае, как, впрочем, и в большинстве других вопросов изучения естественных языков, может лишь помешать решению действительно важной и сложной проблемы, которая при своей постановке распадается на ряд относительно независимых частных вопросов.

Первым вопросом является совершенно справедливо поставленный Э. Косериу онтологический вопрос о том, почему меняется язык (см. специально посвящённый этому раздел данной работы). Принципиальная изменяемость любого естественного языка является аксиомой и не может быть поэтому поставлена в зависимость ни от каких внешних или внутренних факторов, кроме всепоглощающего фактора времени. Конечно, это не отменяет частных причин, лежащих в основе каждого отдельного изменения или цепи взаимосвязанных изменений, которые при углублённом изучении в онтогенезе и филогенезе могут получать вполне достоверные и даже исчерпывающие объяснения. Языковые контакты определённо влияют на изменения, происходящие в языковых системах, но каково именно это влияние и каковы его границы (и существуют ли они вообще), следует рассматривать отдельно. Здесь может помочь несколько грубое, но тем не менее достаточно наглядное сравнение с развитием живых организмов, которые так же, как естественные языки, находятся в процессе постоянного взаимодействия.

Второй вопрос касается статуса обусловленных контактом изменений, особенно в тех сферах языка, где царит системность и применяются естественные правила функционирования системно обусловленных факторов. Если рассматривать языковые контакты как одну из важных причин изменений в языке, приходится задаться вопросом, как они взаимодействуют с прочими факторами, является это взаимодействие прямым или косвенным и что в конечном итоге находится на иерархиче-

ски более высокой ступени в инвентаре причин и механизмов языковых изменений. Снова приведём грубое, но наглядное сравнение. Большое число болезней передаётся в результате контактов между их носителями (сравнение с болезнью ни в коем случае не должно вызывать здесь негативных ассоциаций и быть поводом для предположения об отрицательной оценке автором последствий влияния «чужих» языков). Но заболит ли реально тот или иной человек, бывший в контакте с больным, зависит от целого ряда внешних и внутренних факторов: особенностей самой болезни (то есть насколько она заразна), продолжительности и характера контакта (рукопожатие, нахождение вблизи, так называемый воздушно-капельный путь передачи инфекции и т. д.), особенностей организма человека, в частности состояния его иммунной системы, и прочего.

Третий вопрос относится к разряду не просто вероятностных, но затрагивает область соотношения между возможным, необходимым и невозможным. Именно данный вопрос находится сегодня в центре дискуссии о границах (или безграничности) возможного влияния языков, системности (или асистемности) обусловленных контактами языковых изменений, наличии (или отсутствии) блокирующих влияние контакта внутрисистемных факторов языка. Язык как таковой является, бесспорно, открытой системой в том смысле, что он допускает самые различные влияния, которые могут затрагивать как отдельные, периферийные сегменты, так и её центральные части. Известное сравнение языка с шахматной игрой, предложенное де Соссюром и основанное на противопоставлении динамики (хода игры) и статики (позиции на шахматной доске, которая, согласно Соссюру, может быть оценена независимо от того, как она возникла), при акценте на динамике отражает постоянные перемены как в составе фигур, так и в их соотношении на доске, с той разницей, что в шахматной партии количество фигур постоянно сокращается, тогда как в языке число единиц постоянно растёт, даже несмотря на утрату значительной их части. При этом значительная доля этих единиц привносится вследствие контакта языка с другими языками. Собственно для

теории лингвистики сам факт наличия обусловленных контактами изменений, строго говоря, не представляет большого интереса. Гораздо весомее вопрос о том, насколько стабильна ядерная часть языковой системы (то есть прежде всего инвентарь базовых грамматических категорий) и насколько она допускает влияние извне.

Актуальная дискуссия по данной проблеме предлагает две полярные гипотезы. Первая полагает, что эластичность языковых систем и их открытость влиянию внешних факторов практически безграничны. Ярон Матрас (ср. Matras 1998: 282), один из авторов данной гипотезы, называет её «anything goes hypothesis», то есть гипотезой, что любая языковая система принципиально допускает любое иноязычное влияние, вплоть до полной замены базовых структур родного языка иными структурами, привнесёнными извне. Сторонники этой концепции Сара Томасон и Терренс Кауфман (ср. Thomason/Kaufman 1988, Thomason 2001) подчёркивают в своих работах, что не существует ничего невозможного для проникновения в язык любого влияния, поскольку языковые изменения данного рода (то есть те, что обусловлены воздействием другого языка) регулируются не внутренними механизмами языковых систем, а исключительно внешними по отношению к языку факторами прежде всего социально-культурного плана. Характерен в этой связи следующий вывод этих исследователей (Thomason/Kaufman 1988: 14):

[...] любая языковая единица может быть перенесена из одного языка в любой другой, а предположения, основанные на существовании неких универсалий, зависящих исключительно от лингвистических характеристик, являются, соответственно, неверными (перевод с английского мой. — *М. К.*)¹, —

почти буквально повторённый позднее в книге Томасон (ср. Thomason 2001: 60). Забегая вперёд, отметим, что данный те-

1 «[...] any linguistic feature can be transferred from any language to any other language; and implicational universals that depend solely on linguistic properties are similarly invalid».

зис, при всей своей радикальности, даже сам по себе, вне лингвистического или даже «окололингвистического» контекста, является не чем иным, как попыткой «отменить лингвистику» как науку, поскольку в задачу собственно языковедения не может входить исключительно изучение внесистемных факторов развития языка не только как доминирующих, но и вообще как единственно значимых. Это, кстати, объясняет невозможность подчинения языкознания таким наукам, как социология или культурология, что тем не менее с нарастающей силой пытаются делать сегодня очень многие. Предмет собственно языкознания, как многократно подчёркивалось в этой работе, образуют прежде всего глубинные структуры языковых систем, локализованных в сознании носителей языка. Все прочие аспекты, касающиеся внешних факторов и называемые «экстралингвистическими», имеют ценность лишь постольку, поскольку их изучение позволяет выявлять соотношение собственно лингвистических и иных, то есть не касающихся «ядерных», первичных структур языка, факторов. Выведение же языка за его собственные рамки и его объяснение преимущественно или даже исключительно внеположенными языку причинами, в принципе, конечно, возможно, однако это означало бы отказ от признания языка самостоятельным объектом изучения и, следовательно, от его анализа специфическими, присущими лингвистической науке методами. Конечно, всякое сравнение хромает, как гласит немецкая пословица, но ради наглядности можно сравнить такой подход, скажем, с попыткой объяснить свойства воды влиянием различных факторов, как, например, скорость её течения в реке, сила прибоя в штормовую погоду на море, наличие примесей и прочих внеположенных воде причин, объявив при этом несущественным тот факт, что, несмотря на все эти влияния, её химическая формула H_2O остаётся неизменной.

Вторая гипотеза, рассматривающая язык прежде всего как систему, обладающую, несмотря на открытость различным влияниям, неким достаточно жёстким категориальным каркасом, приписывает языку определённую стабильность и

предполагает, что существуют универсальные механизмы, регулирующие трансформацию глубинных структур языка, локализованных в человеческом мозге, в поверхностные структуры, то есть реальные, эмпирически наблюдаемые высказывания. В этом случае языковые контакты не могут пониматься иначе как лишь известные «ускорители» или, наоборот, «замедлители» тех глубинных тенденций развития, которые присущи языку независимо от его контактов с другими языками и которые поэтому проявились бы и без наличия языковых контактов, хотя и не столь скоро и явно, как под влиянием извне. Иными словами, языковые изменения не могут быть исключительным следствием контактов с другими языками, но в случае такого контакта могут «проснуться» дремлющие внутри системы данного языка тенденции, в силу чего латентное изменение под влиянием контактного языка оживает и принимает форму быстротекущего процесса — подробнее ср. моё изложение данной гипотезы, в частности, в работах о соотношении языковых контактов и собственного, «внутреннего» развития в письменном языке на примере формирования грамматических категорий и синтаксических конструкций готского языка, в том числе под влиянием греческого, и в сопоставлении с другими германскими, а также со славянскими языками (Kotin 2011b: 147–157; 2012: 317–374; 2017: 109–133). Роль языковых контактов и границы их влияния на языковые изменения в устных диалектах были детально изучены, в частности, в работах Вернера Абрахама (ср. Abraham 2014), Эрменегильдо Бидезе, Андреи Падован и Алессандры Томаселли (ср. Bidese/Padovan/Tomaselli 2013; 2014; Bidese 2017), материалом для которых послужили такие центральные с точки зрения инвентаря грамматических категорий и синтаксических конструкций формы, как сослагательное наклонение, модальные глаголы, сложноподчинённые предложения и ряд других в регионах длительного контакта различных диалектов немецкого языка, а также разных языков, принадлежащих как к романской, так и к германской группе. Общий вывод из этих исследований, в которых историческое развитие языков на «контактных» территориях (филогенез)

было исследовано в тесной связи с формированием языковых компетенций говорящих в этих же регионах в настоящее время (онтогенез), можно свести к следующей цитате из сборника статей В. Абрахама (Abraham 2014: 444):

В живом диалектном языке изменения под влиянием языковых контактов происходят лишь там, где те же изменения могли бы произойти и автономно — иными словами, там, где, попросту говоря, дверь для изменения полуоткрыта в самой автономной системе данного языка, внутри парадигмы (перевод с немецкого мой. — М. К.)².

Рассматриваемые здесь вопросы чрезвычайно важны для исторической лингвистики, поскольку вводят проблему языковых контактов, прежде обсуждавшуюся зачастую лишь в описательном плане, в научный контекст. Вопросы взаимовлияния языков, которые следует изучать, в первую очередь, именно с точки зрения внутренних закономерностей, обуславливающих возможности и границы воздействия одной языковой системы на другую, к сожалению, как и во многих других областях языкознания, понимаются совершенно иначе — как простое, научно не отрефлектированное «собираательство» как можно большего числа разрозненных фактов, свидетельствующих о наличии и объёме обусловленных контактом «заимствований». При этом крайне редко встречаются попытки как объяснить «силовые линии» влияния языков, так и задаться вопросом, что именно и при каких условиях можно считать фактором влияния и как иноязычное воздействие соотносится с внутренними тенденциями развития языка. Таким образом, и в этой сфере, причём, пожалуй, именно здесь с наибольшим нежелательным эффектом для научной постановки вопроса, происходит замещение собственно языковедческих задач описанием (не со-

2 «In einer lebendigen Dialektsprache gibt es Wandel unter Sprachkontakt bloß dort, wo solcher Wandel auch autonom stattfinden hätte können — wo also, salopp gesprochen, eine Tür zum Wandel bereits sprachautonom (= paradigmintern) halb-offen steht».

держащим объяснения) разного рода и объёма окололингвистических феноменов. Нельзя, конечно, отрицать того факта, что сами по себе сбор и подробное описание и классификация примеров взаимовлияния контактирующих языков чрезвычайно интересны и познавательны, однако невозможно не видеть явной «донаучности» всех таких усилий, которые могут иметь ценность исключительно как предварительный этап, представляющий материал для его последующего теоретического осмысления. Тем не менее именно сам процесс собирания и простой классификации фактов зачастую претендует здесь на исчерпывающую роль, как, между прочим, и в случае с популярнейшей ныне «корпусной лингвистикой», объявляющей собирание огромных текстовых корпусов самоценной, независимой от анализа корпуса научной задачей (ср. Lüdeling/Kytö 2008–2009, Kratochvilová/Wolf 2010).

Чтобы прояснить проблему на конкретных примерах, обратимся к ряду известных фактов языковых контактов и их последствий для развития языков. В результате масштабных движений германских и других индоевропейских (и неиндоевропейских) племён на рубеже последних столетий до нашей эры и начала нашей эры в Европе, известных как Великое переселение народов, произошли события, завершившиеся крушением Римской империи и созданием на её обломках новых государств Европы. Эти тектонические процессы вызвали небывалые до той поры контакты между самыми разными народами и, следовательно, языками. Войны, торговля, спорадическое возникновение и расширение территорий совместного проживания носителей самых разных языков и диалектов, христианизация вчерашних язычников вследствие контактов с Римом и Византией, распространение халифата, возникновение письменности у народов с исключительно или почти исключительно устной формой языка и масса иных процессов создали невиданные дотоле условия для взаимовлияния и даже взаимопроникновения языков и культур. Для языковеда, историка языка, изучающего эту эпоху, весьма соблазнительным является, конечно, создание по возможности наиболее

полного реестра произошедших перемен в звуковых системах, составе словаря и грамматических форм одних языков под влиянием других. Мы имеем на сегодняшний день очень большое количество работ, посвящённых описанию языковых изменений того периода (и последующих эпох), одно перечисление которых значительно превысит объём данной монографии. Бесспорно, подавляющее большинство этих исследований чрезвычайно интересны и выполнены их авторами с большой добросовестностью. Достаточно привести в качестве одного из сотен примеров классический труд Теодора Фрингса *Germania Romana* (Frings 1966), детально представляющий последствия обширных контактов латыни с германскими языками для лексических систем, прежде всего, германских языков. Вместе с тем до сего дня остаётся без ответа фундаментальный вопрос, который языковые контакты ставят перед лингвистом: каким образом, в какой мере и степени и в каких сегментах языковой системы языки влияют друг на друга и как пересекаются собственные тенденции развития языка и изменения, привнесённые контактом; как проявляются универсальные законы функционирования языка и частные, присущие только данному языку, механизмы его развития?

Известно, например, что западногерманские племена, основу которых образовывали франки, после вторжения на территории западнее Рейна, заселённые, главным образом, римлянами, говорившими на латыни, достаточно быстро утратили свой язык и были практически полностью романизированы. Мощнейшее влияние римской цивилизации оказалось сильнее не только культуры победивших и подчинивших себе римлян германцев, но даже и их языка, который на этих территориях просто исчез. Напротив, франки и другие западногерманские племена, селившиеся на восточном берегу Рейна, подвергшись относительно незначительному языковому влиянию латинян, полностью сохранили свой язык, и прежде всего его ядро — грамматику. Означает ли это, что во взаимодействии языков действительно «всё возможно», вплоть до полного поглощения одного языка другим? Ответ на этот вопрос вовсе не так очеви-

ден, как может показаться. Дело в том, что исчезновение собственного языка вовсе не означает, что если бы он сохранился, то обязательно кардинально поменял бы свою систему под влиянием другого языка. Одно дело полное исчезновение и поглощение и совсем другое — сохранение. Во втором случае язык далеко не открыт любым возможным влияниям. Пример тому — английский язык, который во время нормандского завоевания в середине XI в. подвергся настолько сильному влиянию французского, что до сих пор до 60 процентов английского словаря составляют слова романского происхождения. Тем не менее он и сегодня во всех своих основных чертах остаётся германским языком со специфически германской грамматической структурой и особенностями звуковой системы, акцентуацией и т. п. Огромный пласт романской лексики, вошедшей в английский язык, подвергся кардинальным изменениям и полностью адаптировался к специфике английского произношения, включая наиболее чувствительную сферу — словарный и фразовый акцент, который в романских языках стремится вправо, а, например, во французском, который и оказывал столь длительное влияние на английский в эпоху Высокого Средневековья, фиксирован на конечном слоге слова и в целом синтагмы (ср. Щерба 1937; Гак 1988). Понятно, что в этом процессе не обошлось без существенных коррективов английского просодического рисунка заимствованных романских слов, исконно плохо приспособленных к германской акцентной модели с начально-корневым ударением, однако эти слова в большинстве случаев не переняли французский акцентный тип, а сдвинули исконное ударение влево настолько, насколько это позволила их форма, вплоть до полной его фиксации на начальном слоге. При этом безударные слоги вели себя в основном так, как и безударные слоги исконно германских слов, то есть обнаруживали ту или иную степень количественной и качественной редукции (сокращение качества и (или) длительности безударного слога), ср. ударение и редукцию безударных гласных в таких заимствованных из французского языка словах с исконно конечным ударением, как, например, *góvernment*, *álliance*, *fórtunate*, *ádmirable*,

pávilion, fúture, cómment или (со сдвигом вправо, но не «до конца») *intérior, appártment, avóidable*. Конечно, существуют также слова с конечным ударением вроде глаголов *perpetuáte, prépáre, entertáin* или существительных типа *pionéer*, однако, во-первых, они (главным образом, существительные) часто имеют побочное ударение на первом слоге, а, во-вторых (что намного важнее), акцентные системы германских языков не содержат однозначного запрета на конечное ударение в случае заимствований, ср. немецкие заимствования типа *Dialóg, Ingeniéur*. Таким образом, все заимствования в той или иной степени подверглись просодической и, шире, фонетической адаптации (акцентный сдвиг, количественная и качественная редукция гласного в безударном слоге) в соответствии с правилами исконной английской акцентуации (ср. Плоткин 1989)³. С точки зрения лингвистики как науки о правилах, регулирующих языковые системы, говорить о простом заимствовании как неопосредованном приятии чужого слова поэтому совершенно невозможно. «Заимствование» (при отсутствии пояснения) выступает здесь не как полнозначный научный термин, а лишь как мало что говорящая наклейка, не помогающая, а, наоборот, мешающая выявлению подлинного механизма происходящих в языке в результате контактов процессов. Подобный подход, прямо вводящий лингвиста в заблуждение, ведёт к закреплению утверждений вроде того, что «в английском языке очень много французских

- 3 При этом следует учитывать, что речь идёт не просто об акцентном рисунке и фонетической форме слова того или иного языка *вообще*, а, в частности, о том, что упомянутые «правила» имеют сложную структуру и содержат комплекс признаков и запретов, проявляющихся одновременно. Скажем, чтобы определить, в каких случаях при заимствовании иностранного слова ударение будет падать на тот или иной слог, а те или иные безударные гласные подвергнутся количественной и (или) качественной редукции, необходимо знать закономерности дистрибуции гласных и согласных фонем в контактной и дистактной позиции, зависимость акцентного рисунка не только от количества, но и от состава слогов (согласный — гласный, гласный — согласный, гласный — согласный — гласный и наоборот и т. д.), релевантность долготы/краткости гласного, а также целый ряд других параметров. Важно понимать, что все эти параметры действуют именно в рамках собственной фонетико-просодической системы того или иного языка и отвечают за форму потенциальных заимствований.

слов», не только в обыденном сознании, но и, к большому сожалению, также в лингвистической науке. При этом такая вроде бы более научнообразная модификация подобных утверждений, как «в английском языке много слов французского происхождения», вообще-то вполне приемлема, то всё равно без объяснения механизмов заимствования и адаптации заимствованных единиц мало что проясняет и оставляет поэтому возможность совершенно недопустимого толкования в смысле механического влияния контакта, якобы способного кардинально изменить систему языка и правила её функционирования.

Сказанное о заимствованиях из французского языка, перенесённых на английскую «лексико-фонетическую почву» со всеми вытекающими из этого изменениями, которым они при этом подверглись, в ещё гораздо большей мере относится к грамматике. Здесь английский язык полностью сохраняет все свои базовые структуры и развивается практически автономно, воспринимая из других языков, в частности французского, лишь те элементы, которые соответствуют собственным английским тенденциям развития грамматической системы, и отмечая те из них, которые им противоречат. Скажем, тенденция к постепенной утрате грамматического рода существительных на определённом этапе развития английского языка оказывается необратимой, в результате чего имена существительные в современном английском языке, как и в скандинавских языках, обнаруживающих сходное развитие, не имеют грамматического рода. При этом развитие французского языка происходит в направлении не исчезновения рода, а в направлении сокращения количества родовых оппозиций с трёх (мужской, женский, средний род) в латыни до двух (мужской и женский род). Впрочем, данные процессы касаются уже не того этапа развития языков, что определяется контактами, возникшими в результате нормандского завоевания⁴. А вот гораздо более

4 Некоторые историки английского языка предлагают вовсе отказаться от дифференциации английских существительных по родам начиная уже с раннедревнеанглийской эпохи (ср. Расторгуева 1989: 37–39), что хорошо сочетается с последующим распадом не только родовой классификации,

родственный английскому немецкий язык в силу ряда причин не только сохраняет категорию грамматического рода, но и исконную трёхчастную родовую оппозицию мужского, среднего и женского рода.

В связи со сказанным весьма расплывчатым оказывается также классическое подразделение результатов языковых контактов, обозначаемое терминами *субстрат*, *суперстрат* и *адстрат*, принятыми в ареальной лингвистике. Субстратом именуется механизм изменений в колонизирующем языке под влиянием языка колонизируемого, суперстратом — наоборот, глобальное влияние языка пришельцев на язык коренного населения территорий, ими завоёванных. Типичными субстратными языками принято считать, в частности, германские языки, подвергшиеся глобальному влиянию латыни, а отчасти (готский) — греческого языка в эпоху Великого переселения народов, особенно в его заключительной фазе, а что касается письменной формы — в последовавшие за нею столетия, связанные с распространением христианства и возникновением письменности под влиянием латыни (и греческого), то есть в IV–IX вв. Напротив, скажем, влияние французского на английский в результате нормандского завоевания в XI в. по отношению к последнему является феноменом суперстрата. Адстрат — это формирование языка в результате длительных контактов на совместной или соседних территориях, затрагивающих оба контактирующих языка, благодаря чему, в частности, могут проявляться общие черты у генетически не родственных языков. Если для описания контактов культур и цивилизаций и их последствий для народов данные феномены чрезвычайно существенны, то с точки зрения лингвистики они, очевидно, будучи также в целом небезынтересны, тем не менее никоим образом не способны внести сколько-нибудь серьёзного вклада в изу-

унаследованной отдельными германскими языками из общегерманского (в котором, впрочем, грамматический род выглядел с функционально-семантической точки зрения несколько иначе, ср. Прокош 1954: 244), но и с распадом исконно тесно связанной с категорией грамматического рода падежной системы.

чение языковых контактов. Дело в том, что фиксация определённых следов субстрата, суперстрата или адстрата сама по себе не только не разрешает проблем причин и глубины взаимовлияния языков, но, будучи возведена в некий методологический абсолют, способна увести исследователя от стоящих перед ним собственно лингвистических, научных задач, формирующих не призрачную, а реальную повестку дня языкознания.

Учитывая прямое влияние греческого языка на готский благодаря христианизации готов в результате их контактов с греками-арианами (и не только арианами) в IV в. н. э., несложно и весьма заманчиво объяснить целый ряд процессов, происходивших в готском языке этого периода, влиянием греческого. Сохранившиеся до нашего времени списки готского перевода Четвероевангелия, апостольских посланий и некоторых других текстов, восходящих к готскому епископу Вульфиле (*Wulfila* или *Ulfila*) и его ученикам (ср. Streitberg 1920), позволяют дать достаточно полное описание структуры этого древнейшего из письменно засвидетельствованных германских языков⁵, принадлежавшего к восточногерманской языковой группе, ныне полностью исчезнувшей. При этом множество грамматических феноменов готского языка внешне выглядят как прямое следствие контактов с греческим. Например, прагерманский язык (как и праиндоевропейский) реконструируется как язык, в системе имени которого отсутствовал артикль. Однако в греческом языке постепенно развилась категория именной детерминации (определённости-неопределённости), выраженная оппозицией определённого артикля (возникшего в результате грамматикализации указательного местоимения) и нулевого артикля (употребления существительного без артикля). Следует заметить, что лингвистике неизвестны языки, обладавшие артиклем на древнейшей стадии их развития; все «артиклевые» языки возникают из «неартиклевых» (ср. Sternemann 1995:

5 Не считая языка старших рунических надписей, относящихся к ещё более древнему пласту, которые, однако, в силу своей специфики (фрагментарность, изолированность, отсутствие широкого языкового контекста) не образуют полной корпусной основы для систематического изучения.

152–153). В древнейших засвидетельствованных греческих рукописях (так называемых памятниках линейного письма Б) микенской эпохи (XIII в. до р. Х.) артикль отсутствовал. Позднее, в гомеровскую эпоху (VIII в. до р. Х.) начинается постепенная грамматикализация указательного местоимения *ὁ* ‘(э) тот’, *ἡ* ‘(э)та’, *τό* ‘(э)то’, так что уже к V в. до р. Х., в аттический период, оно регулярно используется не только как собственно местоимение, но и как определённый артикль (ср. Sternemann 1995: 153). Наконец, язык греческого эллинистического койне, на котором были написаны положенные в основу готского перевода евангельские тексты, содержал определённый артикль как неотъемлемую часть именной системы (ср. Heinrichs 1954: 15–18, Schwyzer 1926: 126, Sternemann 1995: 153).

Поскольку данная книга не предполагает детального рассмотрения конкретных языковых феноменов, но использует их лишь в качестве иллюстративного материала для обоснования выдвигаемых теоретических положений, касающихся причин и механизмов языковых изменений, отсылаем читателей, интересующихся историей германского артикля в контексте языковых контактов, к нашим частным исследованиям, специально посвящённым этому вопросу (ср. Котин 2007; 2011, Котин 2011b; 2017), а также к разделу о готском «артикле» в книге (Котин 2012: 212–224). Вкратце выводы исследований об «артиклеподобном» употреблении указательного готского местоимения *sa* ‘этот’, *so* ‘эта’, *þata* ‘это’ показывают, что в готском языке в отличие от греческого артикль как стабильный маркер грамматической функции определённости имени существительного не используется, однако можно считать его статус сопоставимым со статусом указательного местоимения в греческих текстах гомеровской эпохи (VIII в. до р. Х.). Тем не менее Якоб Вакернагель (Wackernagel 1924: 130) и Вольфганг Краузе (Krause 1968: 194–195) говорят о наличии определённого артикля в готском, в то время как Вильгельм Штрайтберг (Streitberg 1920: § 281), Вильгельм Брауне и Эрнст А. Эббингхаус (Braune 1912: 77, Braune/Ebbinghaus 1981: 100–101), а также М. М. Гухман (1998: 106) полагают, что готское указательное местоиме-

ние обнаруживает черты определённого артикля лишь в некоторых случаях, а Орельен Соважо (Sauvageot 1929: 5) и Вернер Ходлер (Hodler 1954: 110–112) и вовсе считают готский язык безартиклевым. Такой разброс во мнениях учёных понятен. Сопоставляя статус греческого определённого артикля с функциональной областью готского указательного местоимения, можно найти разные примеры, которые будут свидетельствовать как в пользу тезиса о наличии в готском языке определённого артикля, так и против него. В одних случаях готский переводчик следует за греческим оригиналом, в других переводит «против греческого», опуская указательное местоимение там, где в греческом оно обязательно, в третьих поступает отчасти следуя за оригиналом, отчасти вопреки ему. Если исходить из того, что грамматикализация готского указательного местоимения стала возможной благодаря контакту с греческим языком, то описанная картина не поддаётся логической интерпретации. Скажем, готский язык крайне редко использует указательное местоимение в предложных словосочетаниях, тогда как в греческом оно выступает там — причём в строго артиклевой функции — почти всегда. Греческий язык использует определённый артикль независимо от позиции существительного в предложении и его роли в информационной структуре (сообщение известного — нового), а готский, как правило, учитывает данный фактор. В этой связи следует упомянуть крайне важное наблюдение Элизабет Лайсс (Leiss 2000; 2002: 47–49), что указательное местоимение достаточно регулярно выступает в готском языке в позиции ремы (фокуса) высказывания как маркер, альтернативный глагольному префиксу *ga-*, выступавшему в роли показателя завершенности глагольного действия (подобно, например, русской приставке *с-*, *со-* в глаголах совершенного вида *сделать*, *съесть*, *сыграть*, *совершить* и т. п.). Лайсс делает из этого вывод о взаимодействии видового показателя глагола (приставка) и показателя определённости имени (артикля), о чём уже говорилось в предшествующем разделе. В греческом языке подобное распределение видовых маркеров глагола и показателей определённости имени отсут-

ствуется. Для готского же, как и для других германских языков, это функциональное взаимодействие является определяющим, поскольку постепенная утрата категории глагольного вида получает «компенсацию» в виде артикля для выражения «внешней» перспективы высказывания. Наконец, в готском языке очень часто невозможно установить, является *sa* ‘этот’, *so* ‘эта’, *þata* ‘это’ артиклем или его следует считать указательным местоимением, то есть переводить соответствующие сочетания с артиклем, скажем, *sa hundafaps*, не как ‘сотник’, а как ‘этот сотник’ и т. п., тогда как в греческом артиклевый статус является в подавляющем большинстве случаев несомненным.

Таким образом, если принять гипотезу, что готский язык развивает артикль из местоимения самостоятельно, вне зависимости от греческого влияния, все кардинальные расхождения в употреблении определённого артикля в греческом и употреблении указательного местоимения в артиклевой или «преартиклевой» функции в готском оказываются объяснимыми. Такой подход вовсе не исключает совершенно очевидного греческого влияния, однако смысл этого влияния следует понимать совершенно иначе. Греческий язык эпохи Нового Завета, обладающий полностью сформированной грамматической категорией определённости — неопределённости, войдя в контакт с готским языком, где грамматикализация указательного местоимения в артиклевой функции происходила независимо от него, оказался в силу большей «продвинутой» сходного развития достаточно мощным *ускорителем* процесса грамматикализации указательного местоимения в готском, но никак не его непосредственным *источником*. Прочие германские языки (скандинавские и западногерманские), безусловно, также развивали артикль, возникший в результате переосмысления («реанализа», ср. английский термин *re-analysis*, уже обсуждавшийся в предыдущих разделах в связи с проблемой грамматикализации) указательного местоимения, хотя их контакт с греческим, если и был (у западногерманских языков), то лишь спорадически, и никак не мог влиять на перестройку их грамматических систем. Более того, западногерманские язы-

ки находились под столь же сильным влиянием латыни, как и воздействие греческого на готский. Тем не менее отсутствие артикля в латинском языке никак не помешало его развитию в английском или немецком языках. Германские языки развивали артикль изнутри собственных систем, и этот процесс, шедший рука об руку с изменением всего грамматического строя не только имени, но и глагола (прежде всего из-за утраты исконной категории глагольного вида), является универсальным, объяснимым внутрисистемной логикой развития. Другие языки, вступавшие в контакт с германскими, могли быть лишь катализаторами этих процессов, но не их причиной и источником.

Если же обратиться к истории романских языков, то и там происходит грамматикализация артикля, хотя он отсутствовал в латыни. При этом, подобно германским языкам и греческому, определённый артикль возникает у них тем же универсальным путём — «реанализа» указательного местоимения.

Влияние греческого языка на готский, включая (библейские) тексты, которые были по преимуществу его непосредственным источником, через пять с лишним веков практически повторилось в отношении южнославянских языков при христианизации славянских народов и создании церковнославянского языка на базе южнославянских диалектов. Конечно, количество переведённых с греческого на церковнославянский текстов несопоставимо с весьма ограниченным готским корпусом. Кроме всех книг Ветхого и Нового Завета на церковнославянский язык были переведены важнейшие творения Отцов Восточной Церкви (проповеди, катехитические сочинения, богословские трактаты), тексты годового богослужебного круга православной церкви, в том числе литургические, каноны, акафисты, житийная литература и т. д. Создателями церковнославянского алфавита в разных его версиях и первыми переводчиками текстов с греческого на церковнославянский были греки по национальности св. братья Кирилл и Мефодий, именуемые просветителями славян. Досконально изучив язык славян, они, а впоследствии и многие другие греческие миссионеры (в том

числе в позднейшее время те из них, что приехали на Русь и занимались переводом и исправлением церковнославянских книг на основе греческого оригинала, как, например, св. Максим Грек), осуществляли перевод с родного языка на иностранный в отличие от готского епископа Вульфилы и его учеников и последователей, которые переводили с иностранного для них греческого на родной, готский. Помимо этих внешних различий можно с уверенностью говорить о непосредственном длительном воздействии греческого языка на славянские (прежде всего южнославянские) языки и диалекты, которое в полном объёме сопоставимо с греко-готскими языковыми контактами. Возникает принципиальный для обсуждаемых здесь теоретических проблем языковых контактов вопрос: если языковое влияние в принципе может вызывать любые изменения, не зависит от особенностей грамматической структуры подвергнувшегося контакту языка и не может быть ограничено собственными тенденциями его развития, то, сравнивая влияние греческого на готский и на славянские языки, мы должны получить доказательство состоятельности данной гипотезы. Однако мы, напротив, видим кардинальные различия в последствиях этого влияния именно в тех сферах грамматики, которые для языковых изменений, происходивших в рассматриваемых языках, являются центральными. Так, в церковнославянском языке вопреки влиянию греческого не развивается определённый артикль, то есть не происходит грамматикализация указательного местоимения и его функциональное переосмысление из дейктического (указательного) и анафорического маркера в показатель определённости в именной фразе. Интересно, что, например, в болгарском и македонском языках впоследствии автономно возникает постпозитивный (энклитически прирывающийся к имени существительному) определённый артикль. Понятно, что воздействие греческого в данном случае если и имело место, то не было решающим, о чём свидетельствует, среди прочего, именно постпозиция артикля к имени и его энклитическое примыкание, показывающие автономность процесса грамматикализации указательного местоиме-

ния и его особую, кардинально отличную от препозитивного артикля форму. Возникновение определённого артикля в двух языках южнославянского ареала идёт рука об руку с формированием в них аналитического строя, свёртыванием падежной системы и целым рядом других процессов (ср. Маслов 1971: 181–182, Иванова 2015: 85–87), отчасти типологически параллельных тем, что происходят в германских языках, но опять же ни в коем случае не под их влиянием, особенно невероятным в случае с южнославянским языковым ареалом. Помимо этого, спонтанные процессы грамматикализации именно постпозитивного указательного местоимения в именной группе происходят совершенно независимо от греческого или иного влияния, например, в северо-восточных говорах русского языка. Правда, ряд учёных полагают, что в этом случае постпозитивная частица *-то*, присоединяемая к имени существительному, выполняет в диалектах функцию не артикля, но, подобно русскому литературному языку (*часы-то отстают*), является в них речевым маркером, аналогичным функции *-то*, энклитически примыкающего к местоимениям, наречиям и прочим частям речи: *я-то знаю, хорошо-то хорошо, но [...]* (ср. Касаткина 2008: 18–19). В рамках этой книги данная проблема не может получить подробного освещения. Ограничимся здесь замечанием, что в северо-восточных диалектах обнаруживается как минимум тенденция к грамматикализации постпозитивного *-то* в сфере категории именной детерминации.

Посмотрим теперь, что происходит в глагольной системе готского и славянских языков (прежде всего, конечно, церковнославянского) на примере переводов христианских текстов, учитывая длительное влияние на них греческого⁶. Церковнославянский язык содержит параллельные готскому глаголь-

6 Речь идёт о специфическом влиянии эллинистического койне в сфере монолитного текстового корпуса. При этом особый характер церковнославянского языка, специально «созданного» и применяемого в богослужебных целях, никак не ограничивает и не ставит под сомнение достоверность получаемых данных, поскольку сравнение с готским, представленным также лишь библейскими текстами, который поэтому тоже можно назвать «церковноготским», вполне уместно.

ные категории, в том числе противопоставление имперфекта, перфекта и аориста, восходящее к достаточно древнему этапу развития индоевропейских языков, тогда как готский, подобно всем остальным германским языкам, кардинально перестраивает исконную индоевропейскую видо-временную систему. Перфект и отчасти аорист «растворяются» в германском ареале в претерите, который на протяжении длительного периода развития германских языков остаётся единственной грамматической формой, выражающей отнесённость события к прошлому. При этом индоевропейская видо-временная система с исконным превалированием видовой функции замещается в германских языках чисто временной (ср. Kluge 1906: 429, Прокош 1954: 149, Смирницкая 1977: 5–6). Форманты индоевропейского перфекта и аориста (как флексия, так и корневой аблаут, а согласно гипотезе Фридриха Клуге (ср. Kluge 1906: 438–439), и дентальный суффикс претерита слабых германских глаголов, возводимый им к показателю индоевропейского аориста) продолжают своё существование в германских языках уже как показатели времени и отчасти наклонения. При этом для выражения видовых или видообразных противопоставлений, то есть описанной выше оппозиции завершённости/незавершённости события, а шире — внешней и внутренней перспективы, из которой говорящий его представляет, древнегерманские языки используют, в частности, приставки (гот. *ga-*, двн. *gi-* и т. д.), ср. гот. *hausjan* — *gahausjan* ‘слышать — услышать’, *bindan* — *gabindan* ‘вязать — связать’, двн. *hōren* — *gihōren* ‘слышать — услышать’ и т. п. (ср. Streitberg 1891, Маслов 1959, Кацнельсон 1960, Смирницкая 1966, Wedel 1997, Schrodtt 2004: 2–4; 104–106; 114–115). Этимологически родственной этой приставке славянский префикс *co-*, *съ-* используется с древности также в славянских языках, причём, как показали в своей сопоставительной работе на материале Готской Библии и церковнославянского Зографского Кодекса Альфред Ведель и Теодор Христчев (Wedel/Christchev 1989), готские и церковнославянские префиксальные глаголы пересекаются при выражении так называемой комплексивной функции, безусловно,

относящейся к домене «внешней перспективы» высказывания. Таким образом, в древнегерманских языках, вне всякой зависимости от славянских и при отсутствии контакта с ними, обнаруживается тенденция к грамматикализации глагольной приставки с исконно социативным («совместным») значением (ср. лат. *co-operāre* ‘со-трудничать’) в сфере категории глагольного вида для обозначения полноты, завершённости действия или события. Впоследствии, однако, в германских языках данная оппозиция постепенно перестаёт играть роль видового или «видоподобного» маркера, а в славянских развивается в один из основных показателей совершенного вида, ср. рус. *делать* — *сделать*, *играть* — *сыграть*, *искать* — *сыскать* и т. д. В греческом языке, одинаково продолжительно и интенсивно влиявшим как на готский, так и на (церковно)славянский, глагольная префиксация для сколько-нибудь систематической кодификации совершенного вида не используется. Поэтому можно констатировать, что развитие префиксального видового маркера и его превращение в регулярный категориальный формант совершенного вида в славянских языках, с одной стороны, и сходные, однако впоследствии не развившиеся тенденции в готском (и других германских языках) — с другой, являются самостоятельными, внутренними процессами, параллельно охватившими разные, хотя и генетически родственные языковые системы.

На материале Зографского и Марианского Кодексов церковнославянского языка Ханне Мартине Экхофф и Даг Хауг (ср. Eckhoff/Naug 2015) убедительно показали, что в этом языке сочетаются два типа маркеров глагольного вида с частично пересекающимися функциями — противопоставление видо-временных форм презенса, имперфекта — перфекта/аориста, с одной стороны, и бесприставочных — приставочных глаголов — с другой. При этом первая группа оппозиций была унаследована из древнейших периодов развития индоевропейских языков и присутствует как в греческом, так и в церковнославянском, а вторая является результатом самостоятельного развития внутри славянской системы. Впрочем, и старославянский перфект ни

в коей мере не следует считать функциональной калькой перфекта греческого (ср. Dostál 1954: 15–16, Плунгян/Урманчиева 2017), что опять же показывает отсутствие непосредственного воздействия иноязычной конструкции даже в условиях самого продолжительного контакта максимально близких по составу и функции грамматических форм. Что касается аориста, то он впоследствии исчезает в славянских языках восточной и западной группы, но сохраняется в южнославянских языках. Германские же языки не сохраняют аорист (уже с прагерманского состояния), радикально переосмысляя его, как и индоевропейский перфект, встроив их в новую парадигму временных форм, однако проходят сравнительно недолгий этап формирования приставочного типа кодификации совершенного вида, а впоследствии частично замещают видовую функцию возникающими значительно позже аналитическими формами перфекта и плюсквамперфекта. Со своей стороны, славянские языки в подавляющем большинстве, напротив, постепенно утрачивают перфектные и плюсквамперфектные аналитические формы и выстраивают пересекающиеся категориальные функции глагольного вида и времени, а именно два времени для глаголов совершенного вида (*сыграю — сыграл*) и три — для несовершенного (*играю — играл — буду играть*).

Таким образом, несмотря на продолжительный и чрезвычайно интенсивный контакт греческого языка как с готским, так и с южнославянскими языками, в самых существенных, «ядерных» частях их именной и глагольной системы все основные процессы языковых изменений происходят либо совершенно независимо от этих контактов, согласно собственной внутренней логике их системного развития, либо — там, где влияние языковых контактов поддается фиксации, — исключительно в тех сферах, где аналогичные процессы происходили и помимо контактов. В этих последних случаях контакт является лишь ускоряющим изменением, но ни в коем случае не первичным фактором, его обуславливающим. К аналогичным выводам, но уже на основе наблюдения за контактами в сфере устных диалектов в районах совместного проживания носите-

лей разных языков и говоров, приходят уже цитировавшиеся выше В. Абрахам, Э. Бидезе, А. Падован, А. Томаселли. При этом филогенез покрывается с онтогенезом, поскольку изучение влияния диалектов происходило не только на уровне систем, но и на уровне их освоения носителями соответствующих языков и диалектов.

Язык и текст в статике и динамике: границы функциональных объяснений языковых изменений

Начиная с 50-х годов прошлого столетия наметился отход языковедов от традиционных способов анализа естественных языков в пользу их интеграции в сопредельные языкознанию, но всё же в основе своей не являющиеся его частью области знания. Именно в это время появляются дисциплины, само название которых сигнализирует их пограничную по отношению к лингвистике природу — социолингвистика, психолингвистика, прагмалингвистика, лингвистика текста, лингвокультурология, теория речевых актов и т. п. Неизбежное при таком новом подходе размывание объекта языкознания является лишь вершиной айсберга. Постепенное расширение сферы интереса лингвистической науки при одновременном сужении собственно лингвистического аппарата изучения языков получило весьма точное название «прагматического поворота» в языкознании, который можно кратко и ёмко описать как перенос центра тяжести в изучении языка с анализа того, *что* и *как* говорится, на анализ того, *зачем* это говорится, каковы цели и задачи языковой коммуникации, чего мы можем добиться при помощи языка и что мы имеем в виду, формулируя наши высказывания и направляя их адресату, как

он их понимает и расшифровывает и т. д. В отношении рассматриваемых здесь теорий языковых изменений такой подход к языку означает, в свою очередь, поиски внеположенных языковым системам причин и механизмов языковых изменений, лежащих за пределами самих лингвистических факторов, в социуме, культуре, цивилизации и в конечном итоге — в том, как устроено общение между индивидуумами, причём именно ось «стимул — реакция», объединяющая коммуникационные системы человека и прочих живых существ, вытеснила, согласно точному диагнозу Ноама Хомского (ср. Chomsky 1973: 25–28), идею принципиального, онтологического отличия человеческой речи, в самой основе своей не регулируемой стимулами, от «языка» животных. Тем не менее «прагматический поворот» в лингвистике, равно как и отход от синтаксиса предложения в пользу синтаксиса целостного текста, имеют весьма веские основания, что многократно затемняет и усложняет полемику с этой новой системой взглядов на человеческий язык, всё более и более вытесняющей традиционные лингвистические методы его изучения.

Основополагающая книга лекций известного философа языка Джона Остина (ср. Austin 1962), в которой требование принципиальной переориентации языковедения с исследования семантики и синтаксиса *предложения* (sentence, clause) на исследование смысла и цели *высказывания* (utterance), носит характерное название: «How do Do Things with Words», то есть «Как делать вещи посредством слов». Главным в высказывании является, согласно этой концепции, не его собственное содержание (пропозиция, или локутивность), а смысл, цель и воздействие на слушающего (прагматически определяемая «иллокутивная сила», то, что коренится в намерении говорящего, формулирующего то или иное высказывание), а также языковая или неязыковая реакция слушающего, распознающего эту иллокутивную цель (перлокуция). Очень общо и упрощённо можно проиллюстрировать это примером намерения говорящего узнать, который час, задав прохожему вопрос *У вас есть часы?* Прохожий, если он верно распознает интенцию (наме-

рение) говорящего, ответит соответствующим образом, а не ограничится констатацией факта наличия у него наручных часов. Сам Остин с течением времени заострил свою гипотезу, устраняя высказывания без косвенной иллокутивной интенции из поля интереса языковеда, поскольку вообще все высказывания, по его мнению, иллокутивны по самой своей сути. Последователи теории Остина Джон Сёрль (ср. Searle 1969; 1976), Пол Грайс (ср. Grice 1975) и другие развивают его идеи, предлагая таксономию речевых актов в зависимости от того, какие именно цели они преследуют и какими средствами языка их добиваются. Например, Сёрль подразделяет речевые акты на репрезентативные (описывающие ситуацию), директивные (побуждающие слушающего к действию), комиссивные (декларирующие намерения говорящего в отношении слушающего), экспрессивные (выражающие эмоциональное состояние говорящего), декларативные (констатирующие наступление какого-либо — обычно юридического — последствия сказанного). Все эти типы актов описываются в зависимости от целого ряда критериев, внеположенных языку, как то: цель, направленность (от говорящего к «миру» либо от «мира» — к говорящему), сила намерения говорящего и т. д. Грайс исследует, в свою очередь, условия успешного осуществления речевого акта, формулируя их как «максимы» речевого общения, каждая из которых начинается словами «Говори так, чтобы...» — «...твои слова воспринимались как правдивые» (максима качества информации), «...использовать не больше и не меньше необходимых языковых средств для передачи данной информации» (максима количества информации), «...твои слова воспринимались как существенные с точки зрения темы коммуникации» (максима релевантности информации), «...твои слова были понятны собеседнику» (максима способа выражения). Критикуя данную таксономию Грайса, Руди Келлер (ср. Keller 1994/³2003, Келлер 1997) отмечает, что в её основе лежит идея кооперативности языкового общения как некоего положительного параметра, исконно свойственного человеческим сообществам. Согласно Келлеру, стремление

быть правильно понятым и желание позитивной кооперации между говорящими представляют собой некую фикцию. В действительности человек пользуется языком прежде всего для достижения собственных целей, определяемых Келлером как широко понимаемый «социальный успех». Поэтому ни одна из максим Грайса, по Келлеру, «не работает» в реальной жизни, а все четыре грайсовские максимы могут быть без труда заменены на две, причём не просто дополняющие друг друга, а прямо антиномичные — «говори, как все, чтобы тебя понимали и твоя речь не вызвала отторжения» и «говори не так, как все, чтобы быть интересным, а не скучным, и чтобы твоя речь казалась яркой, нетривиальной, вызвала интерес у слушателя и оттого была особенно убедительной». Баланс этих максим обеспечивает, по Келлеру, подлинный успех коммуникации, мерилом которого является действие слушающего в интересах говорящего, что обеспечивает последнему продвижение по социальной лестнице, которую он сам себе выстроил (от устройства на престижную работу или получения большой прибыли, власти и проч. до обращения людей в свою веру или склонение их, например, к ведению аскетического образа жизни).

Применительно к истории языка и теории языковых изменений «прагматический поворот» и перенос акцента с изучения внутриязыковых универсальных и частных причин и механизмов эволюции языковых форм и их значений и функций на широко понимаемую «прагматику» означает попытку объяснения языкового развития внешними — индивидуальными, социальными, политическими, культурными и прочими — причинами, обуславливающими поступательные процессы в человеческих сообществах, вызываемые в конечном итоге бихевиористскими факторами, в основе которых лежат поведенческие механизмы, регулируемые взаимодействием стимулов и реакций. В рамках данной парадигмы язык человека всегда будет рассматриваться прежде всего как инструмент коммуникации, а его возникновение и развитие будут выводиться из целей и параметров общения. Иными словами, объяснение языковых изменений обречено быть чисто или хотя бы по преимуществу функци-

ональным, язык как феномен человеческой природы всегда будет предельно инструментализован, а вся палитра его проявлений будет сведена к коммуникации и подчинена её целям. Несколько упрощая, но не уклоняясь от «методологического ядра» такого рода объяснительных стратегий, можно провести симуляцию анализа исторических процессов в языке, которая, как оказывается, практически полностью совпадает с итогами реальных исследований, проводимых на базе данной методологии. Скажем, возникновение определённого типа придаточных причины и вообще развитие сложноподчинённых предложений с придаточными причины и цели можно объяснить потребностью обосновывать свои взгляды и убеждать в их правомерности общество в период социальных революций; развитие и распространение форм сослагательного наклонения и страдательного залога легко увязать с появлением научных текстов, где необходимо формулировать гипотезы и избегать упоминания действующего лица при описании объективной научной картины мира; расширение сферы использования модальных глаголов объяснимо возрастающим желанием говорящих не просто транслировать информацию, но быть вовлечёнными в оценку описываемых событий и ситуаций и т. д. и т. п. Помимо этого, например, лингвокультурологи постулируют прямое влияние доминирующих признаков образа мира, свойственного тому или иному народу, на способ языкового выражения этих якобы базовых «культурных концептов», в силу чего постулируется наличие «языковой картины мира» у того или иного языкового сообщества (ср. Воробьёв 1997: 36–37). При этом несложно прямо или косвенно увязать употребление тех или иных языковых форм и конструкций с типом текста, в которых они используются (его «суперструктурой») и его темой («макроструктурой») (ср. van Dijk 1980: 128–150). Сам же язык оказывается в таком случае эпифеноменом не когнитивной (мыслительно-познавательной), но коммуникативной (направленной на общение) потенции человеческого разума (ср. Heinemann/Heinemann 2002: 243–244). Идеи выведения языка за пределы «узких внутрilingвистических рамок» (ср. Adamzik

2004: 3) появились сравнительно давно. Уже Петер Хартманн (ср. Hartmann 1971: 12–15) выступает за «онтологизацию» языка, утверждая, что единственной его реальной манифестацией является текст, а важнейшим онтологическим параметром — не структура, а *употребление*. Аналогично высказывается о сути языка Харальд Вайнрих (ср. Weinrich 1964/⁴1985: 8–9). Почему Хартманн и его последователи считают сугубо коммуникативное понимание языка его онтологизацией, становится понятным только в свете функционального подхода, возводящего как происхождение естественных языков, так и их бытование в истории к коммуникативной потребности и возникающей и развивающейся на её основе коммуникативной потенции сознания. В действительности онтология языка может (и, как представляется, должна) пониматься совершенно иначе — как то, что *предшествует* коммуникации, является её *условием*, а не следствием, не зависит от коммуникативной потребности и может использоваться в различных сферах, в том числе в коммуникативной, являясь по своей сути эпифеноменом мыслительной потенции и сугубо человеческой рефлексии. Об этом подробно говорилось в предыдущих разделах данного очерка, так что мы не станем здесь повторять аргументацию, касающуюся дефектов функциональных объяснений феноменов, связанных с мыслительной деятельностью. Однако нельзя обойти молчанием вопрос о том, почему возникает именно такая трактовка сути человеческого языка, его происхождения и причин происходящих в нём изменений.

Начнём с цитаты В. В. Маяковского:

Я знаю силу слов, я знаю слов набат.
Они не те, которым рукоплещут ложи.
От слов таких срываются гроба
шагать четверкою своих дубовых ножек.

Возможности языка в процессе общения действительно огромны, и каждый из нас это понимает даже на уровне простой интуиции. Словам и ложи рукоплещут (что само по себе тоже

является свидетельством их силы), и толпы людей внимают. Слова могут невероятно ободрить и даже исцелить человека, а могут, наоборот, ввергнуть его в крайнее уныние или чудовищный по своим разрушительным последствиям гнев. Мама похвалила ребёнка — и он сияет от радости. Учитель пожурил ученика — и тот сильно расстроился и заплакал. Судья огласил приговор — и подсудимый отправился на долгие годы в тюрьму. Словами начинаются войны и заключается мир. Слово, как совершенно справедливо гласит поговорка, может исцелить, а может убить. Неслучайно в Евангелии сказано, что человек оправдывается или осуждается «от слов своих» (Мф. 12, 37) и что «за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда» (Мф. 12, 36). Вообще в священных текстах самых разных народов и культур слову, языку придаётся сакральное значение именно в силу тех его свойств, что отвечают за «иллокутивную силу» высказывания (Дж. Остин). И, действительно, можно создавать новые факты и «вещи» словами. Именно эта особенность языка «завораживает» не только простых его пользователей, но и многих учёных-лингвистов, которые, видя неисчерпаемые возможности языка как инструмента взаимодействия «социальных актёров» (Heinemann/Heinemann 2002: 243), склонны менять местами причину и следствие, сводя коммуникативную функцию языка к единственной причине его возникновения и единственному механизму его развития.

При этом упускается из виду то, о чём писал Н. Хомский и что уже цитировалось выше: цель высказывания или её отсутствие, сила, с которой оно произносится, его эмоциональный накал, смысл, вкладываемый в него говорящим, культурный контекст, в который оно погружено, и все прочие внеположенные языку, но влияющие на него факторы, не могут ничего изменить в тех правилах, по которым оно возникает в сознании и трансформируется в реальную последовательность звуков, слогов, морфем, слов и словосочетаний. Именно эти правила составляют ядро лингвистического интереса, и именно они только и могут быть предметом собственно лингвистической теории. Подобно этому, при всём разнообразии форм и видов,

в которых существует вода, и многообразии её применения в жизни людей, мы не можем ни одной из этих форм и особенно функций объяснить тот факт, что вода возникает путём соединения двух атомов водорода и одного атома кислорода и получает свою видимую и осязаемую форму как поверхностную реализацию этой глубинной формулы.

Что касается истории языка и теории языковых изменений, где сравнение с природными объектами возможно лишь в границах феноменов, подверженных мутациям во времени, то здесь, как было показано, действуют две группы причин и механизмов — универсальные, характеризующие базовые принципы, на которых строится система, и частные, которые, не отменяя универсальных, обуславливают построение таких конфигураций языковых форм, которые по-разному реализуют неизменное содержание специфического «модуля языка», данного человеку от рождения и раскрывающего свой колоссальный потенциал в течение всей жизни, когда язык не просто осваивается, а творится заново.

Библиография

- Аверина 2010 — *Аверина А. В.* Эпистемическая модальность как языковой феномен. На материале немецкого языка. М.: Красанд, 2010.
- Барулин 2007 — *Барулин А. Н.* К построению теории глоттогенеза // Лингвистическая компаративистика в культурном и историческом аспектах. Материалы V Международной конференции по сравнительно-историческому языкознанию / Ред. В. А. Кочергина. Москва: Издательство Московского университета, 2007. С. 9–44.
- Барулин 2012 — *Барулин А. Н.* Семиотический рубикон в глоттогенезе. Ч. I // Вопросы языкового родства. 2012. № 8. С. 33–74.
- Бахтин 1979 — *Бахтин М. М.* Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1979.
- Бергсон 2001 — *Бергсон А.* Творческая эволюция. Материя и память. М.: Харвест, 2001.
- Бергсон 2012 — *Бергсон А.* Непосредственные данные сознания. Время и свобода воли / Пер. с франц. Б. С. Бычковского. М.: Издательство ЛКИ, 2012.
- Бибихин 2015 — *Бибихин В. В.* Мир. Язык философии. СПб.: Азбука, 2015.
- Блауберг 2003 — *Блауберг И. И.* Анри Бергсон. М.: Прогресс-Традиция, 2003.
- Булгаков 1917/1994 — *Булгаков С. А. (о. Сергей Булгаков).* Свет не вечерний — Созерцания и умозрения. М: Республика, 1994 (первая публикация: 1917).
- Воробьев 1997 — *Воробьев В. В.* Лингвокультурология: теория и методы. М.: Издательство РУДН, 1997.
- Выготский 1956 — *Выготский Л. С.* Избранные психологические исследования. Мышление и речь. Проблемы психологического

- развития ребёнка / Под ред. А. Н. Леонтьева и А. Р. Лурия. М.: Издательство АПН РСФСР, 1956.
- Гак 1988 — *Гак В. Г.* Русский язык в сопоставлении с французским. М.: КомКнига, 1988.
- Гухман 1998 — *Гухман М. М.* Готский язык. М.: Наука, 1998. (Репринт издания 1958 г.).
- Данков 1981 — *Данков В. Н.* Историческая грамматика русского языка. Выражение залоговых отношений у глагола. М.: Высшая школа, 1981.
- Иванова 2015 — *Иванова Е. Ю.* Артиклевая система болгарского языка в работах Ю. С. Маслова и в современных концепциях // Вестник СПбГУ. Сер. 9. 2015. Вып. 3. С. 84–97.
- Касаткина 2008 — *Касаткина Р. Ф.* Ещё раз о статусе изменяемой частицы *-то* в русских говорах // Исследования по славянской диалектологии. № 13. Славянские диалекты в ситуации языкового контакта (в прошлом и настоящем) / Под ред. Л. Э. Калнынь. М.: Институт славяноведения РАН, 2008. С. 18–30.
- Кацнельсон 1960 — *Кацнельсон С. Д.* Древнеисландские сукцессиональные частицы *of* и *ut* // Вопросы грамматики / Под ред. В. Н. Ярцевой и В. Г. Адмони. М.-Л.: Наука, 1960. С. 331–345.
- Келлер 1997 — *Келлер Р.* Языковые изменения. О невидимой руке в языке / Пер. с нем. и вступ. ст. О. А. Костровой. Самара: Издательство Самарского государственного педагогического университета, 1997.
- Котин 2007 — *Котин М. Л.* О статусе автономного и препозитивного *sa*, *so*, *þata* в готском языке // *Lingua Gotica*. Новые исследования. Сборник научных трудов памяти М. М. Гухман / Под ред. Н. С. Бабенко, А. Л. Зеленецкого, Н. Н. Семенюк, В. И. Карпова. Калуга: Эйдос, 2007. С. 146–159.
- Котин 2011 — *Котин М. Л.* О статусе постнуклеарного *sa*, *so*, *þata* в готском языке // *Lingua Gotica*. Новые исследования. Т. 2 / Под ред. Е. Б. Яковенко, А. Л. Зеленецкого. М.; Калуга: Эйдос, 2011. С. 94–104.
- Котин 2013 — *Котин М. Л.* Проблемы категориальной конвергенции в синхронии и диахронии (на примере категории модальности) // Томский журнал лингвистических и антропологических исследований / *Tomsk Journal of Linguistics and Anthropology*. 2013. 1(1). С. 45–57.
- Красухин 1987 — *Красухин К. Г.* К вопросу о соотношении индоевропейского активного и среднего залога // Вопросы языкознания. 1987. № 6. С. 21–33.

- Мамардашвили/Пятигорский 2011 — *Мамардашвили М. К., Пятигорский А. М.* Символ и сознание. СПб.: Азбука, 2011.
- Маслов 1959 — *Маслов Ю. С.* Категория предельности/непредельности в готском языке // Вопросы языкознания. № 5. С. 24–36.
- Маслов 1971 — *Маслов Ю. С.* Членные формы болгарского литературного языка с точки зрения лингвистической типологии // Исследования по славянскому языкознанию. Сборник в честь шестидесятилетия профессора С. Б. Бернштейна / Под ред. Н. С. Державина. М.: Наука. С. 181–188.
- Маслов 1984 — *Маслов Ю. С.* Очерки по аспектологии. Л.: Наука, 1984.
- Плоткин 1989 — *Плоткин В. Я.* Строй английского языка. М.: Высшая школа, 1989.
- Плунгян/Урманчиева 2017 — *Плунгян В. А., Урманчиева А. Ю.* Перфект в старославянском: был ли он результативным? // *Slověne*. 2017. № 2. С. 13–56.
- Прокош 1954 — *Прокош Э.* Сравнительная грамматика германских языков / Пер. с английского Т. Н. Сергеевой. М.: Издательство иностранной литературы, 1954.
- Расторгуева 1989 — *Расторгуева Т. А.* Очерки по исторической грамматике английского языка. М.: Высшая школа, 1989.
- СГГЯ 1962 — Сравнительная грамматика германских языков / Под ред. М. М. Гухман и др. Т. I–II. М.: Издательство Академии наук СССР, 1962.
- Смирницкая 1966 — *Смирницкая С. В.* Функциональное развитие префикса *ge-* в немецком языке. Дисс. ... канд. филол. наук. Л.: ЛГУ, 1966.
- Смирницкая 1977 — *Смирницкая О. А.* Эволюция видо-временной системы в германских языках // Историко-типологическая морфология германских языков. Категория глагола / Под ред. В. Н. Ярцевой. М.: Наука, 1977.
- Стрельцова 1978 — *Стрельцова М. И.* О связи видо-временных и залоговых значений в причастиях на *-m-*, *-n-* и *-t-* (по памятникам XI–XIV вв.) // Проблемы теории грамматического залога / Под ред. В. С. Храковского. Л.: Наука, 1978. С. 213–220.
- Трубачёв 1976 — *Трубачёв О. Н.* Этимологические исследования и лексическая семантика // Принципы и методы семантических исследований. М.: Наука, 1976. С. 147–179.
- Холодович 1977 — *Холодович А. А.* О «Курсе общей лингвистики» Ф. де Соссюра // *Ф. де Соссюр*. Труды по языкознанию. М.: Прогресс, 1977. С. 9–29.

- Черниговская 2013 — *Черниговская Т. В.* Чеширская улыбка кота Шрёдингера. Язык и сознание. М.: Языки славянской культуры, 2013.
- Щерба 1937 — *Щерба Л. В.* Фонетика французского языка. Очерк французского произношения в сравнении с русским. Л.: Учпедгиз, 1937.
- Ярцева 1968a — *Ярцева В. Н.* Научно-техническая революция и развитие языка // Вопросы философии. 1968. № 11. С. 71–77.
- Ярцева 1968b — *Ярцева В. Н.* Взаимоотношения грамматики и лексики в системе языка. М.: Наука, 1968.
- Abraham 2014 — *Abraham W.* Schriften zur Synchronie und Diachronie des Deutschen / Hrsg. von A. Kaṭny, M. Kotin, E. Leiss, A. Socka. Frankfurt a. M. [u. a.]: Lang, 2014.
- Abraham 2017 — *Abraham W.* Modalpartikel und Mirativeffekte // Grammatische Funktionen aus Sicht der japanischen und deutschen Grammatik / Hg. S. Tanaka, E. Leiss, W. Abraham, Y. Fujinawa. Hamburg: Buske, 75–107.
- Abraham/Leiss 2008 — Modality-Aspect Interfaces. Implications and typological solutions / Eds W. Abraham, E. Leiss. Amsterdam: Benjamins, 2008.
- Abraham/Leiss 2009 — Modalität, Epistemik und Evidentialität bei Modalverb, Adverb, Partikel und Modus / Hg. W. Abraham, E. Leiss. Tübingen: Stauffenburg, 2009.
- Abraham/Leiss 2012 — Covert Patterns of Modality / Eds W. Abraham, E. Leiss. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholar Publishing, 2012.
- Adamzik 2004 — *Adamzik K.* Textlinguistik. Eine einführende Darstellung. Tübingen: Niemeyer, 2004.
- Augustinus — Augustinus, Aurelius. MDCCCXXXIX. *Confessionum. Libri XIII. Opera omnia.* Pars V. *Opera moralia.* Parisiis: Parrent-Desbares.
- Austin 1962 — *Austin J. L.* How to Do Things with Words. Oxford: Clarendon Press, 1962.
- Bach 1981 — *Bach E* On Time, Tense and Aspect. An essay in English metaphysics // Radical Pragmatics. 1981. № 191. P. 63–81.
- Baudouin de Courtenay 1922 — *Baudouin de Courtenay J. N. I.* Zarys historii języka polskiego. Warszawa: Polska Składnica Pomocy Szkolnych L. Bogusławski, 1922.
- Beekes 1984 — *Beekes R. S. P.* Comparative Indo-European Linguistics. Amsterdam-Philadelphia: John Benjamins, 1984.

- Bickerton 1996 — *Bickerton D.* Language and Human Behavior. London: UCL Press, 1996.
- Bidese 2017 — *Bidese E.* Der kontaktbedingte Sprachwandel. Eine Problemannäherung aus der I-language-Perspektive // Grammatische Funktionen aus Sicht der japanischen und deutschen Germanistik / Hg. S. Tanaka, E. Leiss, W. Abraham, Y. Fujinawa. Hamburg: Buske, 2017. S. 135–157.
- Bidese/Padovan/Tomaselli 2013 — *Bidese E, Padovan A., Tomaselli A.* Bilingual competence, complementizer selection, and mood in Cimbrian // Dialektologie in neuem Gewand: Zu Mikro-/Varietätenlinguistik, Sprachenvergleich und Universalgrammatik / Hg. W. Abraham, E. Leiss. Hamburg: Buske, 2013. S. 47–58.
- Bidese/Padovan/Tomaselli 2014 — *Bidese E, Padovan A., Tomaselli A.* The syntax of subordination in Cimbrian and the rationale behind language contact // Language Typology and Universals. 2014. № 67/4. P. 489–510.
- Bornkessel-Schlesewski/Schlesewski 2009 — *Bornkessel-Schlesewsky I., Schlesewsky M.* Processing Syntax and Morphology: A Neurocognitive Perspective. Oxford: Oxford University Press, 2009.
- Braune 1912 — *Braune W.* Gotische Grammatik. 8. Aufl. Halle (S.): Niemeyer, 1912.
- Braune/Ebbinghaus 1981 — *Braune W., Ebbinghaus E. A.* Gotische Grammatik. Tübingen: Niemeyer, 1981.
- Bulletin... 1871 — Bulletin de la Société de Linguistique de Paris. Volume premier. Paris: A. Gouverneur, 1871.
- Bybee 1985 — *Bybee J. L.* Morphology. A Study of the Relation between Meaning and Form. Amsterdam: Benjamins, 1985.
- Bybee/Dahl 1989 — *Bybee J. L., Dahl Ö.* The creation of tense and aspect systems in the languages of the world // Studies in Language/ 1989. № 13 (1). P. 51–103.
- Caldirola 1980 — *Caldirola P.* The introduction of the Chronon in the electron theory and a charged lepton mass formula // Letters Nuovo Cimento. 1980. № 27. P. 225–228.
- Cassirer 1923/1977 — *Cassirer E.* Philosophie der symbolischen Formen. Bde. 1–3. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1977. (Erstausgabe 1923.)
- Chomsky / Lasnik 1993 — *Chomsky N., Lasnik H.* Principles and parameters theory // Syntax. Ein internationales Handbuch zeitgenössischer Forschung / Hg. J. Jacobs, A. von Stechow, W. Sternefeld, Th. Vennemann. Halbbd. 1. Berlin-New York: de Gruyter. 1993. P. 506–569.
- Chomsky 1957 — *Chomsky N.* Syntactic Structures. The Hague-Paris: Mouton, 1957.

- Chomsky 1965 — *Chomsky N.* Aspects of the Theory of Syntax. Cambridge (Mass.): The M. I. T. Press, 1965.
- Chomsky 1973 — *Chomsky N.* Sprache und Geist [Original titel: Language and Mind]. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1973.
- Chomsky 1986 — *Chomsky N.* Knowledge of Language. New York: Praeger, 1986.
- Chomsky 1995 — *Chomsky N.* The Minimalist Program. Cambridge (Mass.): MIT Press, 1995.
- Chomsky 1996 — *Chomsky N.* Powers and Prospects. Reflections on human nature and the social order. London: Pluto Press, 1996.
- Chomsky 2004 — *Chomsky N.* Language and mind: current thoughts on ancient problems. Part I & Part II // Variation and Universals in Biolinguistics. Ed. L. Jenkins. Amsterdam: Elsevier, 2004. P. 379–405.
- Chomsky 2005 — *Chomsky N.* Three factors in language design // Linguistic Inquiry. 2005. № 36 (1) P. 1–22.
- Chomsky/Halle 1968 — *Chomsky N., Halle M.* The Sound Pattern of English. New York-Evanston-London: Harper & Row, Publishers, 1968.
- Comrie 1976 — *Comrie B.* Aspect. An Introduction to the Study of Verbal Aspect and Related Problems. Cambridge: Cambridge University Press, 1976.
- Comrie 1985 — *Comrie B.* Tense. Cambridge: Cambridge University Press, 1985.
- Coseriu 1958 — *Coseriu E.* Sincronia, diacronia e historia. El problema del cambio lingüístico. Montevideo: Universidad de la República, 1958.
- Coseriu 1974 — *Coseriu E.* Synchronie, Diachronie und Geschichte. Das Problem des Sprachwandels. München: Fink, 1974.
- De Cuyper 2005 — *Cuyper L. de.* Exploring exaptation in language change // Folia Linguistica Historica. Acta Societatis Linguisticae Europaeae. 2005. XXVI. P. 1–26.
- Diewald 1993 — *Diewald G.* Zur Grammatikalisierung der Modalverben im Deutschen // Zeitschrift für Sprachwissenschaft. 1993. № 12. P. 218–234.
- Diewald 1997 — *Diewald G.* Grammatikalisierung. Eine Einführung in Sein und Werden grammatischer Formen. Tübingen: Niemeyer, 1997.
- Dostál 1954 — *Dostál A.* Studie o vidiovém systému v staroslověnštině. Prague: Státní pedagogické nakladatelství, 1954.
- Dressler et al. 1987 — *Dressler W. U., Mayerthaler W., Panagl O., Wurzel W. U.* Leitmotifs in Natural Morphology. Amsterdam-Philadelphia: Benjamins, 1987.
- Duden 7/2001 — Duden: Herkunftswörterbuch / Hg. von der Duden-Redaktion. 5. Aufl. Mannheim u. a.: Dudenverlag, 2001. Bd. 7.

- Eckhoff/Haug 2015 — *Eckhoff H. M., Haug D. T. T.* Aspect and prefixation in Old Church Slavonic // *Diachronica*. 2015. № 32/2. P. 186–229.
- Erlich 1965 — *Erlich V.* Russian Formalism: History and Doctrine. 2nd, rev. ed. New York: Humanities, 1965.
- Eroms 1997 — *Eroms H.-W.* Verbale Paarigkeit im Althochdeutschen und das ‘Tempussystem’ im ‘Isidor’ // *Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur*. 1997. 126/1. P. 1–31.
- Fanselow/Felix 1987 — *Fanselow G., Felix S.* Sprachtheorie — Eine Einführung in die generative Grammatik. Bd. 1. Tübingen: Niemeyer, 1987.
- Feynman 1967 — *Feynman R.* The Character of Physical Law. Cambridge Mass.: MIT Press, 1967.
- Fourquet 1970 — *Fourquet J.* Zum subjektiven Gebrauch der deutschen Modalverba // *Studien zur Syntax des heutigen Deutsch. Festschrift für Paul Grebe zum 60. Geburtstag* / Hg. H. Moser et al. Düsseldorf: Schwann, 1970. P. 154–161.
- Frings 1966 — *Frings T.* Germania Romana. Tübingen: Niemeyer, 1966.
- Fritz 2000 — *Fritz T.* Wahr-Sagen: Futur, Modalität und Sprecherbezug. Hamburg: Busse, 2000.
- Gallois 1998 — *Gallois A.* Occasions of Identity: A Study in the Metaphysics of Persistence, Change, and Sameness, 1998.
- Gallois 2016 — *Gallois A.* Identity Over Time // *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Winter 2016 Edition) / Ed. E. N. Zalta. URL: <https://plato.stanford.edu/archives/win2016/entries/identity-time/i> (дата обращения: 25.06.2017).
- Gould/Vrba 1982 — *Gould S J., Vrba E. S.* Exaptation — a missing term in the science of form // *Paleobiology*. 1982. № 8 (1). P. 4–15.
- Grice 1975 — *Grice P. H.* Logic and Conversation // *Speech acts (= Syntax and Semantics. Vol. 3)* / Eds P. Cole, J. L. Morgan. New York: Academic Press, 1975. P. 41–58.
- Grimmelshausen 1684 — *Grimmelshausen H. J. Chr.* Der Aus dem Grab der Vergessenheit wieder erstandene Simplicissimus. Nürnberg: Johann Jonathan Felbecker, 1684.
- Grucza 1997 — *Grucza F.* Języki ludzkie a wyrażenia językowe, wiedza a informacja, mózg a umysł ludzki // *Podejścia kognitywne w lingwistyce, translatoryce i glottodydaktyce* / Red. F. Grucza, M. Dakowska. Warszawa: WUW, 1997. P. 7–21.
- Guillaume 1929/1965 — *Guillaume G.* Temps et verbe. Théorie des aspects, des modes et des temps. Paris: Champion, 1929/1965.
- Haider 2017 — *Haider H.* Grammatiktheorien im Vintage-Look — Viel Ideologie, wenig Ertrag. [Draft-Version: Grammatiktheorie im Vintage-Stil — HH (18.7.2017)]. URL: <https://www.researchgate.net/publication/317111111>

- cation/319236570_Grammatiktheorien_im_Vintage-Look-Viel_Ideologie_wenig_Ertrag (дата обращения: 22.07.2017).
- Hamann 1949–1956 — *Hamann J. G.* Sämtliche Werke. Historisch-kritische Ausgabe von Josef Nadler in 6 Bd. Wien: Herder Verlag, 1949–1956.
- Harnisch 2004 — *Harnisch R.* Zu einer Theorie der Sekretion und des Rekonstruktionellen Ikonismus // *Zeitschrift für Germanistische Linguistik*. 2004. № 32. P. 210–232.
- Hartmann 1971 — *Hartmann P.* Texte als linguistisches Objekt // *Beiträge zur Textlinguistik* / Hg. W. D. Stempel. Bd. 1. München: Fink, 1971. P. 9–30.
- Heidegger 1927/1967 — *Heidegger M.* *Sein und Zeit*. 11., unveränderte Aufl. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1967.
- Heine 1993 — *Heine B.* Auxiliaries. Cognitive forces and grammaticalization. New York: Oxford University Press, 1993.
- Heine 1995 — *Heine B.* Agent-oriented vs. epistemic modality. Some observations on German modals // *Modality in Grammar and Discourse* / Eds J. L. Bybee, S. Fleischer. Amsterdam: Benjamins, 1995. P. 17–53.
- Heine/Kuteva 2002 — *Heine B., Kuteva T.* On the Evolution of Grammatical Forms // *The Transition to Language* / Ed. E. Wray. Oxford: Oxford University Press, 2002. S. 376–397.
- Heinemann/Heinemann 2002 — *Heinemann M., Heinemann W.* Grundlagen der Textlinguistik. Interaktion — Text — Diskurs. Tübingen: Niemeyer, 2002.
- Heinrichs 1954 — *Heinrichs H. M.* Studien zum bestimmten Artikel in den germanischen Sprachen. Gießen: Schmitz, 1954.
- Herder 1772/²1789/1982 — *Herder J. G.* Abhandlung über den Ursprung der Sprache. Berlin, 1772 (2. Ausgabe 1789) / *Herders Werke* in 5 Bdn. Bd. 2. Berlin und Weimar: Aufbau-Verlag, 1982.
- Hockett 1960 — *Hockett C. F.* The Origin of Speech // *Scientific American*. 1960. № 203. P. 88–96.
- Hodler 1954 — *Hodler W.* Grundzüge einer germanischen Artikellehre. Heidelberg: Winter, 1954.
- Hopper/Traugott 1993 — *Hopper P. J., Traugott E. C.* Grammaticalization. Cambridge: Cambridge University Press, 1993.
- Humboldt 1836/1949 — *Humboldt W. von.* Über die Kawisprache auf der Insel Java. Einleitung: Über die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues und ihren Einfluß auf die geistige Entwicklung des Menschengeschlechts. Neu hg. von H. Nette. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1949.
- Humboldt 1903–1936 — *Humboldt W. von.* Gesammelte Schriften / Hg. von A. Leitzmann et al. Berlin: Preußische Akademie der Wissenschaften. Nachdruck 1968.

- Hundt 2003 — *Hundt M.* Zum Verhältnis von epistemischer und nicht-epistemischer Modalität im Deutschen. Forschungspositionen und Vorschlag zur Neuorientierung // Zeitschrift für Germanistische Linguistik. 2003. № 31. P. 343–381.
- Jackendoff 2002 — *Jackendoff R.* Foundations of Language. Brain, Meaning, Grammar, Evolution. Oxford: Oxford University Press, 2002.
- Jakobson 1957 — *Jakobson R.* Shifters, Verbal Categories, and the Russian Verb. Harvard: Harvard University Press, 1957.
- Jespersen 1922 — *Jespersen O.* Language. Its Nature, Development and Origin. London: George Allen / Unwin, 1922.
- Kant 1787/2016 — *Kant I.* Kritik der reinen Vernunft. 2. Aufl. Vollständige Neuauflage mit einer Biographie des Autors. Hrsg. v. Karl Maria Guth. Berlin: Verlag von Contumax GmbH & Co, 2016.
- Keller 1994/³2003 — *Keller R.* Sprachwandel — Von der unsichtbaren Hand in der Sprache. 3., durchgesehene Auflage. Tübingen und Basel: Francke Verlag, 2003.
- Klein 1994 — *Klein W.* Time in Language. London: Routledge, 1994.
- Klein 1995 — *Klein W.* A time-relational analysis of Russian aspect // Language. 1995. № 71. P. 669–695.
- Klingenschmitt 1982 — *Klingenschmitt G.* Das altarmenische Verbum. Wiesbaden: Reichert, 1982.
- Kluge 1906 — *Kluge F.* Vorgeschichte der altgermanischen Dialekte. 2. Aufl. Straßburg: Karl J. Trübner, 1906.
- Kluge 1967 — *Kluge F.* Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, 20. Aufl., bearb. von Waltwe Mitzka. Berlin: de Gruyter, 1967.
- Kluge 1999 — *Kluge F.* Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, 23., erw. Aufl., bearb. von Elmar Seebold. Berlin; New York: de Gruyter, 1999.
- Knudson & Hjort 1995 — *Knudson J. M., Hjorth P. G.* Elements of Newtonian Mechanics. Berlin-Heidelberg: Springer, 1995.
- Köhler 1940 — *Köhler W.* Dynamics in Psychology. New York: Liveright, 1940.
- Kotin 1997 — *Kotin M. L.* Die Wortbildung als sprachtheoretisches Problem // Das Wort. Germanistisches Jahrbuch / Hg. I. Bäcker, D. Dobrovolski. Moskau-Bonn: DAAD, 1997. S. 97–111.
- Kotin 2001 — *Kotin M. L.* Zum Formenbestand des Verbalparadigmas im Gotischen und im Althochdeutschen: Indogermanische Archaismen und germanische Innovationen // Zur Verbmorphologie germanischer Sprachen / Hg. S. Watts, J. West, H.-J. Solms. Tübingen: Niemeyer, 2001. P. 63–71.
- Kotin 2005 — *Kotin M. L.* Die Sprache in statu movendi. Sprachentwicklung zwischen Kontinuität und Wandel. Bd. 1. Einführung — Nomination —

- Deixis. Heidelberg: Winter, 2005. Bd. 2. Kategorie — Prädikation — Diskurs. Heidelberg: Winter, 2007.
- Kotin 2008a — *Kotin M. L.* Aspects of a reconstruction of form and function of modal verbs in Germanic and other languages // *Modality-Aspect Interfaces. Implications and typological solutions* / Eds W. Abraham, E. Leiss. Amsterdam: Benjamins, 2008. P. 371–384.
- Kotin 2008b — *Kotin M. L.* Zu den Affinitäten zwischen Modalität und Aspekt: eine germanisch-slavisches Fallstudie // *Die Welt der Slaven*. 2008. № 1. P. 116–140.
- Kotin 2011a — *Kotin M. L.* Ik gihôrta ðat seggen... Modalität, Evidentialität, Sprachwandel und das Problem der grammatischen Kategorisierung // *Modalität und Evidentialität / Modality and Evidentiality* / Hg. G. Diewald, E. Smirnova. Trier: Wissenschaftlicher Verlag FOKUS, 2011. P. 35–48.
- Kotin 2011b — *Kotin M. L.* Zur historischen Entwicklung der Definitheitsmarker in der Germania und Slavia: Die Frühformen der Definitheits-Kodierung // *Geschichte und Typologie der Sprachsysteme / History and Typology of Language Systems* / Hg. M. L. Kotin, E. G. Kotorova. Heidelberg: Winter, 2011. P. 147–158.
- Kotin 2012 — *Kotin M. L.* Gotisch. Im (diachronischen und typologischen) Vergleich. Heidelberg: Winter, 2012.
- Kotin 2017 — *Kotin M. L.* Sprachkontakte in der Schriftsprache. Fallbeispiel Artikel im Gotischen // *Grammatische Funktionen aus Sicht der japanischen und deutschen Grammatik* / Hg. S. Tanaka, E. Leiss, W. Abraham, F. Werner, Y. Fujinawa. Hamburg: Buske, 2017. S. 109–133.
- Kotin/Schönherr 2012 — *Kotin M. L., Schönherr M.* Zum Verhältnis von Epistemizität und Evidentialität im Deutschen aus diachroner und typologischer Sicht // *Zeitschrift für deutsche Philologie*. 2012. № 131/3. P. 393–416.
- Kratochvilová/Wolf 2010 — *Kratochvilová I., Wolf N. R.* Kompendium Korpuslinguistik. Eine Bestandsaufnahme aus deutsch-tschechischer Perspektive. Heidelberg: Winter, 2010.
- Kratzer 1991 — *Kratzer A.* Modality // *Semantik. Ein internationales Handbuch der zeitgenössischen Forschung* / Hg. A. von Stechow, D. Wunderlich. Berlin u. a.: de Gruyter, 1991. S. 639–650.
- Krause 1968 — *Krause W.* Handbuch des Gotischen. 3. Aufl. München: Beck, 1968.
- Kuryłowicz 1964 — *Kuryłowicz J.* The Inflectional Categories of Indo-European. Heidelberg: Winter, 1964.
- Lakoff 1972 — *Lakoff G.* On Generative Semantics // *Semantics: An Interdisciplinary Reader in Philosophy, Linguistics and Psychology* /

- Eds D. D. Steinberg, L. A. Jakobovits. Cambridge: Cambridge University Press, 1972. P. 232–296.
- Lakoff/Johnson 1980 — *Lakoff G., Johnson M.* The Metaphorical Structure of the Human Conceptual System // *Cognitive Science*. 1980. № 4. P. 195–208.
- Langacker 1968 — *Langacker R. W.* Language and its Structure. New York: Harcourt, 1968.
- Lass 1997 — *Lass R.* Historical Linguistics and Language Change. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.
- Lehmann 1985 — *Lehmann Ch.* Grammaticalization: synchronic variation and diachronic change // *Lingua e stile*. 1985. № 20/3. P. 303–319.
- Lehmann 2000 — *Lehmann Ch.* Theory and method in grammaticalization // *Zeitschrift für Germanistische Linguistik*/ 2000. № 32. P. 152–187.
- Leiss 1992 — *Leiss E.* Die Verbalkategorien des Deutschen. Ein Beitrag zur Theorie der sprachlichen Kategorisierung. Berlin; New York: de Gruyter, 1992.
- Leiss 1998 — *Leiss E.* Über das Interesse der Grammatiktheorie am Sprachwandel und ihr Desinteresse an Sprachgeschichte // *ZAS Papers in Linguistics*. Heft 13 / Eds E. Lang. Berlin: Zentrum für Allgemeine Sprachwissenschaft, Typologie und Universalienforschung, 1998. S. 196–211.
- Leiss 2000 — *Leiss E.* Artikel und Aspekt: Die grammatischen Muster von Definitheit. Berlin; New York: de Gruyter, 2000.
- Leiss 2002 — *Leiss E.* (1) Die Rolle der Kategorie des Aspekts im Sprachwandel des Deutschen: ein Überblick; (2) Der Verlust der aspektuellen Verbpaare und seine Folgen im Bereich der Verbalkategorien des Deutschen; (3) Der Verlust der aspektuellen Verbpaare und seine Folgen im Bereich der Nominalkategorien des Deutschen // *Grammatische Kategorien aus sprachhistorischer und typologischer Perspektive*. Akten des 29. Linguisten-Seminars (Kyoto, 2001) / Hg. Japanische Gesellschaft für Germanistik. München: Iudicium Verlag, 2002. S. 9–58.
- Lightfoot 1991 — *Lightfoot D. W.* How to Set Parameters — Arguments from Language Change. Cambridge: MIT Press, 1991.
- Lightfoot 1999 — *Lightfoot D. W.* The development of language — Acquisition, change and evolution. Oxford: Blackwell, 1999.
- Lüdeling/Kytö 2008–2009 — *Lüdeling A., Kytö M.* Corpus Linguistics. An International Handbook. Berlin; New York: de Gruyter, 2008–2009.
- Lyons 1977 — *Lyons J.* Semantics. Vol. 1–2. Cambridge: Cambridge University Press, 1977.
- Matras 1998 — *Matras Y.* Utterance modifiers and universals of grammatical borrowing // *Linguistics*. 1998. 36/1. P. 281–331.

- Mayerthaler 1981 — *Mayerthaler W.* Morphologische Natürlichkeit. Wiesbaden: Athenaion, 1981.
- McCone 1991 — *McCone K. R.* The Indo-European origins of the Old Irish nasal presents, subjunctives and futures. Innsbruck: Institut für Sprachen und Literatur der Universität Innsbruck. Abteilung Sprachwissenschaft, 1991.
- Meier-Brügger 2002 — *Meier-Brügger M.* Indogermanische Sprachwissenschaft / 8., überarbeitete und ergänzte Aufl., unter Mitarb. von Matthias Fritz und Manfred Mayrhofer. Berlin; New York: de Gruyter, 2002.
- Morciniec 2009 — *Morciniec N.* Monogeneza a różnorodność języków. Co na temat języka mówi Biblia // Wrocławskie Towarzystwo Naukowe. Rozprawy Komisji Językowej. 2009. XXXVI. S. 3—12.
- Müller 1892 — *Müller M.* Die Wissenschaft der Sprache. Vom Verfasser autorisierte deutsche Ausgabe besorgt durch Dr. R. Fick und Dr. W. Wischmann. Bd. 1. 15. Aufl. Leipzig: Mayer, 1982.
- Naumenko 2008 — *Naumenko E.* Grammatikalisierung im kindlichen Erstspracherwerb. Inauguraldissertation zur Erlangung des akademischen Grades eines Doktors der Philosophie der Universität Mannheim. URL: https://ub-madoc.bib.uni-mannheim.de/2965/1/diss_naumenko2.pdf (дата обращения: 7.09.2017).
- Neu 1968 — *Neu E.* Das hethitische Mediopassiv und seine indogermanischen Grundlagen. Wiesbaden: Harrassowitz, 1968.
- Öhlschläger 1989 — *Öhlschläger G.* Zur Syntax und Semantik der Modalverben im Deutschen. Tübingen: Niemeyer, 1989.
- Palmer 1986 — *Palmer F. R.* Mood and Modality. Cambridge: Cambridge University Press, 1986.
- Paul 1968 — *Paul H.* Principien der Sprachgeschichte. 8. Aufl. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1968.
- Pfeifer 1993 — *Pfeifer W. et al.* Etymologisches Wörterbuch des Deutschen. 2. Aufl. Berlin: Akademie, 1993.
- Piaget 1923/1983 — *Piaget J.* Le langage et la pensée chez l'enfant. Немецкий перевод: *Piaget J.* Sprechen und Denken des Kindes / Üb. N. Stöber. Frankfurt a.M. u. a.: Ullstein, 1983.
- Pinker 1984 — *Pinker S.* Language learnability and language development. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1984.
- Preuß 1814 — *Preuß J. D. E.* Die schönen Redekünste in Deutschland. Berlin: Maurersche Buchhandlung, 1814.
- Priest 2010 — *Priest G.* Non-transitive identity // Cuts and Clouds: Vagueness, its Nature and its Logic / Eds R. Dietz, S. Moruzzi. Oxford: Oxford University Press, 2010.
- Prokosch 1939 — *Prokosch E.* A Comparative Germanic Grammar. Philadelphia: Linguistic Society of America, 1939.

- Saussure 1916 — *Saussure F. de*. Cours de linguistique générale. Lausanne-Paris: Payot, 1916.
- Sauvageot 1929 — *Sauvageot A.* L'emploi de l'article en gothique. Paris: H. Champion, 1929.
- Schleicher 1863 — *Schleicher A.* Die Darwinsche Theorie und die Sprachwissenschaft. Weimar: H. Böhlau, 1863.
- Schrodt 2004 — *Schrodt R.* Althochdeutsche Grammatik II — *Syntax*. Tübingen: Niemeyer, 2004.
- Schwyzler 1926 — *Schwyzler E.* Griechische Grammatik. Bd. 1, 3. Aufl. München: Beck, 1926.
- Searle 1969 — *Searle J.* Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language. London: Cambridge University Press, 1969.
- Searle 1976 — *Searle J.* A Taxonomy of Illocutionary Acts. Trier: Laut, 1976.
- Stam 1976 — *Stam J. H.* Inquiries into the Origin of Language. The Fate of a Question. New York, Hagerstow, San Francisco, London: Harper and Row, 1976.
- Stang 1932 — *Stang Ch. S.* Perfectum und Medium // Norsk tidsskrift for sprogvidenskap. 1932. № 6. P. 29–39.
- Sternemann 1995 — *Sternemann R.* Gedanken zum "Artikel" im Gotischen // Wie redet der Deutsche man jnn solchem fall? Festschrift anlässlich des 65. Geburtstages von Erwin Arndt / Hg. G. Brandt, R. Hünecke. Stuttgart: Heinz, 1995. P. 152–153.
- Streitberg 1891 — *Streitberg W.* Perfective und imperfective Aktionsart im Germanischen. // Paul's und Braune's Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur. Bd. 15. 1891. S. 70–177.
- Streitberg 1920 — *Streitberg W.* Gotisches Elementarbuch. 5./6. Aufl. Heidelberg: Winter, 1920.
- Stutterheim 1993 — *Stutterheim Ch.* Modality. Function and form in discourse / Eds N. Dittmar, A. Reich // Modality in Language Acquisition. Berlin u. a.: de Gruyter, 1993. P. 1–26.
- Süßmilch 1766/1998 — *Süßmilch J. P.* Versuch eines Beweises, daß die erste Sprache ihren Ursprung nicht vom Menschen, sondern allein vom Schöpfer erhalten habe. Köln: Themen, 1998 (Nachdruck der Ausgabe Berlin 1766).
- Sweetser 1982 — *Sweetser E. E.* Root and Epistemic Modals. Causality in Two Worlds // Proceedings of the 8th Annual Meeting of the Berkeley Linguistics Society / Eds Macaulay, Monica et al. Berkeley: Berkeley Linguistics Society, 1982. P. 484–507.
- Szober 1913 — *Szober S.* O poprawności języka. Warszawa: M. Arct, 1913.
- Thomason 2001 — *Thomason S. G.* Language Contact. An Introduction. Edinburgh: University Press, 2001.

- Thomason/Kaufman 1988 — *Thomason S. G., Kaufman T.* Language Contact, Creolization and Genetic Linguistics. Berkeley & Los Angeles: University of California Press, 1988.
- Trabant 1989 — *Trabant J.* Wilhelm von Humboldt — Jenseits der Gränzlinie // Theorien vom Ursprung der Sprache / Hg. J. Gessinger, W. Rahden von. Bd. 1. Berlin: de Gruyter, 1989. S. 498–522.
- Trabant 2003 — *Trabant J.* Mithridates im Paradies — kleine Geschichte des Sprachdenkens. München: Beck, 2003.
- Ulbæk 1998 — *Ulbæk Ib.* The origin of language and cognition // Approaches to the Evolution of Language: Social and Cognitive Base / Eds J. R. Hurford, M. Studdert-Kennedy / Ch. Knight. Cambridge-New York: Cambridge University Press, 1998. P. 30–43.
- van Dijk 1980 — *van Dijk T. A.* Textwissenschaft. Eine interdisziplinäre Einführung. Tübingen und München: Niemeyer und DTV, 1980.
- Vater 2004 — *Vater H.* Einführung in die Sprachwissenschaft. 4. Aufl. München: Fink, 2004.
- Vendler 1964 — *Vendler Z.* Nominalizations. Transformations and Discourse Analyses Papers 55. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1964.
- von Stechow 1993 — *Stechow A. von.* 1993. Die Aufgaben der Syntax // Syntax. Ein internationales Handbuch zeitgenössischer Forschung / Hg. J. Jacobs, A. von Stechow, W. Sternefeld, V. Wolfgang, Th. Venne-mann. Halbbd. 1. Berlin; New York: de Gruyter, 1993. S. 1–88.
- Wackernagel 1924 — *Wackernagel J.* Vorlesungen über Syntax. 2. Reihe. Basel: Birkhauser, 1924.
- Watkins 1969 — *Watkins C.* Geschichte der indogermanischen Verbalflexion // Indogermanische Grammatik / Hg. J. Kuryłowicz. Bd. III., 1. Teil. Heidelberg: Winter, 1969.
- Wedel 1997 — *Wedel A. R.* Verbal prefixation and the ‘Complexive’ aspect in Germanic // Neuphilologische Mitteilungen. 1997. № 98. P. 321–332.
- Wedel/Christchev 1989 — *Wedel A. R., Christchev T.* The ‘Complexive’ and the ‘Constative’ aspects in Gothic and in Old Bulgarian of the Zograph Codex // Germano-Slavica. 1989. № 6. S. 195–208.
- Weinrich 1964/1985 — *Weinrich H.* Tempus — besprochene und erzählte Welt. Stuttgart: Kohlhammer, 1985.
- Weizsäcker 1989 — *Weizsäcker C. F. von.* Zeit und Logik bei Leibniz: Studien zu Problemen der Naturphilosophie, Mathematik, Logik und Metaphysik. Stuttgart: Klett-Cotta, 1989.
- Wittgenstein 1953 — *Wittgenstein L.* Philosophische Untersuchungen. Oxford: Oxford University Press, 1953.
- Wurzel 1984 — *Wurzel W. U.* Flexionsmorphologie und Natürlichkeit — Ein Beitrag zur morphologischen Theoriebildung. Berlin: Akademie-Verlag, 1984.

Научное издание

Михаил Львович Котин

ЯЗЫК И ВРЕМЯ

Корректор *Г. Барышева*

Ведущий редактор *О. Неклюдова*

Оригинал-макет подготовлен *К. Москалевым*

Художественное оформление переплета *С. Жигалкина*

Подписано в печать 12.09.2018. Формат 60×90 1/16.
Бумага офсетная № 1, печать офсетная. Гарнитура Newton.
Усл. печ. л. 14. Тираж 500. Заказ №

Издательский Дом ЯСК

№ государственной регистрации 1147746155325

Phone: 8 (495) 624-35-92 E-mail: Lrc.phouse@gmail.com

Site: <http://www.lrc-press.ru>, <http://www.lrc-lib.ru>

ООО «ИТДГК «Гнозис»»

Розничный магазин «Гнозис» (с 10-00 до 19-00)

Турчанинов пер., д. 4, стр. 2. Тел.: (499) 255-77-57

itdgkgnosis@gmail.com

Оптовый отдел

Ул. Бутлерова, д. 17Б, оф. 313. Тел.: (499) 793-58-01

sales@gnosisbooks.ru

